

ВЛАДИМИР ШИБАЕВ

# Серп демонов и молот ведьм



Роман

# Владимир Константинович Шibaев

## Серп демонов и молот ведьм

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2860405](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2860405)*  
*Серп демонов и молот ведьм: Роман.: Время; Москва; 2011*  
*ISBN 978-5-9691-0656-7*

### **Аннотация**

Некоторым кажется, что черта, отделяющая тебя – просто инженера, всего лишь отбывателя дней, обожателя тихих снов, задумчивого изыскателя среди научных дебей или иного труженика обычных путей – отделяющая от хоровода пройдох, шабаша хитрованов, камланий глянцевых профурсеток, жнецов чужого добра и карнавала прочей художественно крашеной нечисти – черта эта далека, там, где-то за горизонтом памяти и глаз. Это уже не так. Многие думают, что заборчик, возведенный наукой, житейским разумом, чувством самосохранения простого путешественника по неровным, кривым жизненным тропкам – заборчик этот вполне сохранит от колов околоточных надзирателей за «нравственным», от удушающих объятий ортодоксов, от молота мосластых агрессоров-неучей. Думают, что все это далече, в «высотах» и «сферах», за горизонтом пройденного. Это совсем не так. Простая девушка, тихий работающий парень, скромный журналист или потерявшая счастье разведенка – все теперь между спорым серпом и молотом молчаливого Молоха.

# Владимир Константинович Шибаев

## Серп демонов и молот ведьм

*Пришел невод с одною тиной...*

*Пушкин*

Сентябрь – время охоты.

Истлеет лето, зачеркнут тронутую ржой листву косые строки первых дождей. На голубую глыбу тропосферы дальние беспечные ветра нагонят грязную, комкую простыню белесых облаков, будто в спешке сорванную для постылой стирки с больничной койки неудачливого небесного пациента. Нестройным пока косяком вслед пугливым птицам потянутся в дальний путь мокроватые дни, отмахивая часы, как минуты. Вдруг станет чуть зябко, сбегут за шиворот капли холодного света, и будто стукнет молотком невропата в темя настырная и задымленная, задавленная постучится железными пальцами клапанов и поршней несущаяся вдаль и мимо в трансе магистраль. И сразу занеможет глотнуть запаха яблок. Тогда и охота, последняя годовая удадь, голодная к вожделению чужой погибели сладкая отрава.

Разве июли да августы ее пора? Вся легкая навязшая в зубах злоба улетает в сочный фруктовый укус, вянет в хрусте смородиновой, наряженной и налитой черными гроздьями ветки, вплетается тонкой лептой обертонов в колокольный перезвон проводов с издали прибывшим током, поющих свои главные песни – о теплых жгучих искрах электронных напряжений, срочно мчащихся нескорбной скорой помощью к летним ленным людям.

Но только выкинет сентябрь полотенце своего имени на ринг календарей, тут же сопит осипшей борзой призывный рожок, клацают зубами обреченных зверей затворы, и суют шомпола шершавые небритые щеки в убойные щели дрожащих после летнего сна стволов. Потому что вылезла дичь. Зайцы и лоси делают мертвые петли в опечатанных туманной мечтой, похожих на дробь по медведю зрачках лысых со лба и зада, усидчивых банковских и муниципальных хапуг. Отъевшиеся на северных клюквах и морошках ути и бекасы неохотно тянут свои тела к тропическим чавкающим заразой болотам мимо шальных улыбок и пуль незадачливых мясников, лесников, егерей и вновь оперившихся оперов и партфункционеров.

Выходят на охотные тропы и оставшиеся летом не у дел кривые престарелые шлюшонки, заманивая отбившихся от стад фермеров, деревянных людей из военных академий и техников-смотрителей чужого добра бросовой ценой и сдобой вислого жира, который ловкие с подложными дипломами врачешки никак не уберут за девичьи смешные деньги. И страстно клявшиеся Гиппократам лекари, и костоправы, и водилы пальцами для снятия порчей и корчей, недородки с пятибуквенным словарным запасом, подменщики кроссвордов судьбы и толкователи неброских кошмаров и пугающих примет – все вылезают первыми осенними днями на свои бугорки и вглядываются в лица снующих – не это ли дичь?

Пожалуй, лишь молодые длинноногие вешалки, ощупывая местами стертый загар, зачехляют свое теплое, вдоволь и метко пострелявшее летом оружие до поры в чехлы, смазав прицелы и стволы кремами и благовониями, а сами, на недолгое время объявив запретной охоту на дураков, рогоносцев и жирных плешивых карасей, ласкают розовыми пальчиками летние трофеи феи – камушки-блестяшки, полные стонов кошельки и нарядную чешую и шкурки для зимнего летка.

Именно в один из таких вот сентябрьских, славных лишь накапывающей серебряной влагой вечеров и стоял почти посреди улицы, но поближе все же к глухой стеночке недоснесенного барочного шедевра одинокий охотник. Если бы кто, странным образом, обратил на этого невразумительного типа внимание, то лицо сие показалось бы неудачно плоским. Это не удивительно: с двух сторон на охотника были напалены, видно для маскировки от

пробежавшего мимо зверья, большие рекламные щиты, кстати, довольно удобные и могущие стоять по стойке сами, а глаза и уши охотник прикрывал незаметной газетой. На одном из щитов, с причинной поникшей стороны, было намалевано воззвание:

НУЖИН ЛЮДИ УПАКОВКА РИБА ПЕЛМЕН ИКРА РАЗНЫЙ  
ПОРОД ДАЕМ РЕГИСТРАЦ КОЙКАМЕСТ ГРАЖДАНСВ И ВСЕ ДРУГОЙ  
ЗВАНИ АЛИК ТЕЛ

Второй щит топорщился со стороны мощных газоотводов и почти трубил:

ПОТОМСВЕН ПРОРИЦ АГРАФЕНА СИДЬМОГО КАЛЕНА ВСЕ О  
МУЖИ  
ОТВОЖУ ИХНЮЮ ИЗМЕНЩИЦ ПЕРЕЛЕТ ПЛАЦКАРТ  
ИНОПЛАНЕТ НЕДОРОГ СПРОС ЭЛЕН ТЕЛ

Но не подумайте, что, закрыв невзрачную рожу недельной газеткой, человек-реклама обезглазел. У хитреца посреди органа печати насквозь было ловко выделано ножницами отверстие в виде трех совпавших объявлений, и теперь то одним, то другим беспокойно вертящимся глазом охотник мог свободно выглядывать жертву. И, конечно, никакого труда внимательному прохожему или иному городскому зверю, кошке или опытному щипаному голубю, не составило бы догадаться, что человек этот не кто иной, как никому не известный литератор Н., в миру господин U. N. N., охотник и добытчик. Хотя какой это был, к чертям, господин, если уже изрядно подмерз, постоянно стучал о небархатный асфальт стертymi летними ботинками и временами возил их мысками, высекая тепло, по грязным брюкам, а к тому же был беден, как в год крысы поселившаяся в исчезающем антирелигиозном уголке краеведческого музея, оголодавшая от пыльных жухлых пособий бывшая церковная мышь.

Надо сказать, у литератора этого все выглядело около среднего: средней чистоты куртка, понурый рост, достойная худоба, двухдневная на дряблых щеках щетина, не совсем сникшее настроение и кризис чуть выше среднего возраста; и ясно виделось, что этот тип делает посреди вечерней улицы в пиковый час – он был охотник на своего героя. Конечно, таскать неудобную раскладуху рекламы – приличный приработок, вырезать из газет квадраты полезных объявлений, вроде:

ОПЛАЧИВАЕМ ПРОБНЫЕ СТРИЖКИ, ДАЕМ ВЗАЙМ ПОД НОЛЬ

ИЛИ

НУЖЕН ЧЕЛОВЕК-ТУЛУП ДЛЯ ТРЕНИНГА ДОБРОГО ПСА,

а потом в тиши домашней полумалогабарит-ки изучать их – это шанс зашибить шальную деньгу, но делал это Н. по большей части из высших, художественно оформленных мечтами, побуждений.

У него недавно уже были почти выделаны и чуть не вылезли из грубого органа размножения – печатного станка – два сочиненьица. Во-первых, он отправил, и теперь ежедневно шарил в ящике ответ, в сборник «Святая тяга» лирически, акварельно со священным трепетом деланный рассказ-портрет молодой дамы, на почве крушения из-за наследственного слуха распевания псалмов втюрившейся в одного такого батюшку, розовощекого красавца-здоровяка, который как раз предосудительно проживал с совсем другой, толстой и терзавшей друга за бороду. И вот вся эта пастельная, хрупкая, истонченно-изящная котова-сия психологизмов и вакханалия страстей скоро, вроде, должна была вылиться финальным ушатом на страницы вышеуказанного глянцево-гладкого сборничка. Во-вторых, полностью сварганен был и намечен для толстого «Нового знаменья» или «Мирного октября» рассказец, который Н. хотел сначала пропихнуть под сценарий, а после со зла назвал повестью, а напихав в резиновые бока словесного ватина, и романом. Про то, как он, уже знаменитость

после страсти к попу, приглашен был неизвестными классиками мирового арта на одну виллушку, где эти все знаменитости его по очереди и парой боготворят, обожают, просят научить основам грамоты и подсовывают своих трепаных красоток, а он на все плюется, жрет, блюет на халяву где попало на ихние бунгалы и беспрерывно и бесплатно звонит дуре в город своей юности и спрашивает: «Ну что, дура, давай стягивай трусы?!»

И вспомнив литературные подвиги, Н. даже больно зажмурился от удовольствия – тянет ведь, тянет старая клячка! Но ныне Н. оказался без героя на мели, опустившись до опостылевшего быта, башка опустела, и на дне ее увиделся старый детский хлам: порванный пионерский галстук, справка от логопеда и значок «Турист СССР». Тут-то настырный искатель складных строк и вышел на охоту, что иногда, заодно с приработком, позволял себе вместо убийственно сладкого допинга рюмашки и ранее, и прильнул острым глазом к бумажной амбразуре, взывая и маня жертву приворотными заклинаниями.

Долго водил он впустую самодельным окуляром по городской перспективе, пока не вылетели из художественно гнутых фонарей пирамиды убогого, испорченного промышленными газами света и не накрыли обычную суету и пока не стали хрустящие от холода ботинки прилипать к стынувшей мостовой, а глаз – к жалобно жмущейся мокрой газетенке. Да и какой-то настырный пробегавший гоготала, явный не герой, глотнувший где-то три порции лишнего, рыкнул и гукнул в дыру на еле отшатнувшегося поисковика, а потом, покабани заржав и помотав лошадиной головой, поплелся давить и гонять, тускло матерясь и размахивая бандерильей зонта, пустой молочный пакет.

И как раз в этот миг узрел псевдогосподин Н. одинокого пешехода, жмущегося к тротуарным сливам, и сердце Н., как точный мерительный сосуд и снаряженный душевным электричеством прибор, еле слышно тренькнуло воскресным аритмическим колокольцем. Нет, мостовые в предвечерний час не пустовали, густо вытекал в этих известных городских местах из служб, лавок и харчевен всякий мельтешащий люд, но пешеход наш, пожалуй, был оторван, вырван с мясом из бестолково сшитого покрова толпы – и правда, скажите, если вы ввинчены в расписанный обиход, зачем бы вам то стремглав, путаясь среди прохожих, бросаться вдруг вперед без явной цели, копируя одних, отставших от времени, то прогулочной, вялой, вальяжной иноходью изображать других, туристов, фланирующих в поисках дармовой жратвы бездельников или напыщенных бывших тузов, ныне добротных, укутанных в дорогие обноски пенсионеров союзных значений. Пешеход и перескакивал по тротуару как-то глупо, прижав руки к груди, будто придерживал большое непоседливое сердце, и вставал невпопад, как врытый межевой столб между неграничащими ареалами, или упрямо разглядывал старомодные свои отечественного фасона ботинки, словно встретился с ними впервые. То он рылся в карманах, перетаскивая из одного в другой и сея на асфальт мелочь, на которую, утекшую тут же в щели, глядел с осуждением и невозполнимой тоской утраты пропавшего дня. А то, пугая плохой дикцией и всем своим видом встречных, выпрастывал ладони и вдруг спрашивал ни у кого, обращая бледное и круглое лицо свое вверх, к почти успокоившемуся дождю: «Который час будет?» или «Почем это все, не знаете?»

«Актер, – с разочарованным сомнением прикинул наблюдательный Н. – Или того хуже, пацифист».

Ясно, прохожий этот был слегка одержим. Но не пьян и совсем не походил на бормочущих бездомных с пристальными, выглядывающими свой интерес стеклянными или оловянными глазами. Беспокоен – да, и таскал скорее всего явную внутреннюю чепуху, засевшую в нем ахиною, неспособную выдавить из спешащих по разумным делам каплю встречного интереса. Никто его тут, в оживленном кургузыми фонарями центральном месте города не знал или не узнавал.

Это известный, прославленный затейливой глупостью, шальной скотской жизнью или политическим свинством деятель, остановись он посреди чего-нибудь и сморозь муть, тут

же будет понят и оценен. «Шутит, вон, шутить при нас, повезло, взялся», – зайдутся полные задором и украшенные жеманным жиром хохотушки и пользующиеся их мелко дрожащим телом младшие офицеры. «Законно не дурите, может, из известного гражданина прет важное, потомки пускай и разберут», – тяжело отштампуется серьезный, упертый в прошлые чины отставник, почетный гражданин и хранитель всех своих прижизненных конспектов. «Дурит, а здоровско! – прыснут прыщавые подростки и отвязные отроковицы. – Дурь два в дурь-доме два». И, конечно, будут правы.

А незнакомый, исследуемый холодеющим Н. типаж, нервно взволнованный, таращащийся на мертвые и спотыкающийся о «живые» рекламные щиты, он никому, кроме себя, и не нужен. Может, лишь какому писаке-графоману, неловкому ловцу несуразностей, подглядывающему с садистски отверстым слюнявым щербатым ртом, словно старец за Сусанной, за тупыми аттракционами и кульбитами случайной жизни, устроившему в городском, холодном, налитом суетливой скукой пространстве инсталляцию: с желтым старым блокнотом в руках, в очках с поломанной и клеенной наспех дужкой и огрызком карандаша в трясущихся корявых руках – он трется, спрятавшись в забрала чужих объявлений, среди прилично спешащих, трет друг об друга обтянутые в заляпанные грязные брюки стильные ноги свои, и лишь не смоченные коньяком мечты греют его пустое брюхо, где притаилась голодная звериная душа его.

Но вот окончательно зажглись в городе летающие в тусклой неопознанной высоте тарели фонарей, взорвались цветом и местами, шипя и плюясь стеклом, потухли блуждающие рекламные огни, и, похоже, лишь один этот инсталлятор, шурясь и шепча в сражениях за тепло пахнущие коньячком стишата собственного разлива, разглядел, как пешеход наконец прибыл в точку намеченного им маршрута: дорогу ему преградило ощерившееся баррикадой первой революции помпезное старомодное здание, во всех пяти этажах которого сияющие внутри лампочки лизали цветными мазками выстроенные шеренгами широкие окна.

Тут дерганый пешеход выкрутил очередное антраша: поднявшись через пять ступенек широкой лестницы к почти хрустальным, оправленным в бронзу дверям, этот чудак сначала взялся искать кнопку звонка или вызова, а после выпрастал потную ладонь и примерился постучать костяшками пальцев в стекло, будто перед ним был пригородный привокзальный буфет-клозет, а не громада здания долголетиями уважаемой и на весь регион когда-то громыхавшей газеты. А двери спокойно, как в любом прилично подающемся доме, расступились, и открылся перед остро пылающими отсветом рекламы глазами пешехода тепло освещенный и дивно пахнущий натурально пригоревшим мясом вестибюль. И прохожий зачем-то вступил в газету.

Но тут же, как воскресший черт из занюханной табакерки, на пути его выпростался охранитель в немыслимом, будто наизнанку напыленном полуфренче, и молча заслонил круглым плотным окатышем тела возможную дорогу.

– Куда? – чуть погодя строго спросил вохровец.

Здесь надо, несомненно, в нескольких словах пояснить удивительную для подобных сотрудников вежливость и терпение вохра и его манеру изъясняться вопросами, и вообще, почему столь добрая ухмылка выпрыгнула на помпезную нагловатую рожу ряженого привратника. Фамилия охранителя была как-то «Горбань», или нет – «Горбыш», неважно. Он-то сам прекрасно помнил ее назубок еще с запомнившейся, как зловонная тюрьма, школы, поэтому сбить его с панталыку не всякому кулаку по зубам. Потом, надо учесть, неделю, как он стал генерально или, как выражаются зарубежные попы, «кардинально», совсем измененный другой. Полностью заменил себя на путях продвижения сквозь мутную жижу жизни.

Тогда еще, как и сейчас, Горбыш, сколько помнил себя в натуре, жил в пригородном городе М., обозванном так трясущимися от страха в тридцатые годы районными крысаками по имени в недобрый час забравшегося на конек антицарской баррикады рабочего-само-

убийцы, тащился в набитой вонью пахучей электричке на службу и проклинал старшую живучую сеструху, с которой делил подслеповатую родительскую развалюху с подгнившими венцами и подмигивающим светом. Вечерами сестра, возвратясь с лабаза, где на кого-то торговала и что-то заворачивала, пьяно орала хорошие песни о главном, и Горбыш с удовольствием ставил ей на кислую круглую рожу сизые памятки и печатки типа «уплочено» и «погашено». Но сеструха от тумачков одумалась, затаилась и взялась водить старого, спавшего с арбузным ножом, из большого злобного наехавшего в М. навсегда погостить кагала, и в доме стало хуже, потому что забродил призрак чьей-нибудь смерти. Горбыш проклял родное гнездо и с удовольствием потел в собственном соку в электричке, слушал уплывающие колокола родного поселка и выравнивающие стук перебивы личного сердца. Которые никак не могли достучаться до удачи.

Был он ранний отставник некоторых войск, специальных, ну, короче, пожарных, и погорел совсем не за мародерство и хищение с места человеческих трагедий пары бабьих сапог или неизвестной собакам шапки, от чего любой толковый пожарник будет смачно хохотать полсмены, а от старшего, завистника на ровном месте и политгорлопана. Ушел с треском и перебивался в вохре то в одном НИИ, то в другом вьетнамском притоне, а после и здесь как уже два года – в загибающейся, глухой и безглазой окнами газетенке. И чего только ходили, отключив зад и задравши рожу, гордые сотрудники-девки и потертые со всех сторон старые, в джинсах, пацаны под прозванием журналисты, итит. Только не сообразишь возле кассы: зарплата – пшик от ситра, а болезни от ихних сквозняков – даром на выбор.

Газетка давно стала хромая кляча, задыхалась без тиража и без жратвы в буфете, куда Горбыш имел талоны и талант лезть без очереди, оря как оглашенный «Мы тут на службе, а ну подвинься!», и держалась на плаву вверх брюхом, навроде вчерашней плотвы, благодаря старому названию ее марки, словно если утопленник-ответработник идет ко дну, не снимая породистую шляпу, откачивая права и команду разбежавшимся спасателем. Три месяца задержали жидкую зарплату, уборщицы со швабрами, харкая на пол, разбрелись по грязным углам, и вохровец чаще спал, хлебнув пива, на топчане в комнатенке за пропускником, подложив под голову стопку нераспроданных номеров, шевеля грязными носками и стгоняя с дырок мух.

И вот две недели назад он резво переметнулся в полностью другие люди, как индийский йог-покойник влезает в шкуру последнего встреченного зверя. Это все равно, если в него вселился, не спросясь, инопланетный зритель, раньше наблюдавший Горбыша в свой резкий телескоп из верха. Потому что дураки и кто не прошел пожарной закалки огнем-водой и медной каской на роже воображают, что человек – кремень. А человек – это сухая, пока не обмочился, горькая горячая трава или сухой помет из дерьма и может принимать любой оборот под разные обстоятельства жизни. В жаре он закаменеет и кончит вонять, а в болоте раскиснет и удушится своей природной слизью. Но звучит гордо: сотрудник печати.

И как раз две недели назад начало случаться чудо, от которого Горбыш заменился, вырвав в корне самого себя, навроде выживший из земли один сорняк другого. Поначалу покатился асфальтовой давилкой слух, что всех вывели за штат. Даже люди-журналисты приуныли, Горбыш напился излишнего пива и, сидя на топчане и икая вальс, оплевал форменные штаны. Рыдала старая Ираида на пропускнике возле турникета, помнившая газету еще девкой, и проходящие сотрудники-мозгляки гладили трясущимися руками ее дергающиеся плечи. Горбыш залег на топчане глазами вниз, чтобы случайно не увидеть будущее, и стал мучить воздух газами. Но через день вдруг налетели бабки-уборщицы с горящими ведрами и развевающимися швабрами и взялись, ведьмы, по-старинному матерясь, охая и треща древними суставами, все поливать и драить и спугнули Горбыша. Зажглись в окнах все огни, за которыми раньше не водилось, по причине отсутствия безналичности, и трети личного состава, а на внешний фасад выбрались ловко подвешенные за ягодицы верхолазы и импорт-

ными составами вымыли до лихорадочного блеска глазастые окна. Техработники, мышиною тучей налетевшие на оконце, получили на руки двухмесячное жалованье и поняли, что не зря дружили со швабрами и отвертками, а на внешней лестнице высадили десант квакающих на древних языках армян и взялся убирать в розовый туф стертые ступени и драить замшей и губами золоченую бронзу вывески. Вохровец растерялся и все время стоял в вестибюле, расставив, чтобы не упасть, ноги, и, как боров, крутил недозрелой лысиной. Потом от нервов употел и рухнул на отмытый до неприятного топчан. Тут и случилось главное.

В вестибюль, перепутав с дверцами в салун из фильмов дикого запада, вломилось четверо в черных развевающихся кожаных плащах, а один, с белобрысой глумливой рожей, подскочил к обмякшему от глупости вохру, тряхнул его за форменную грудь и, оря: «Вымя укушу, сучек... безделить. Жрачкой удавишься... на веревке проспишься, вместо люстры, лысая курва...» – подволок к главному. И у Горбыша окаменели еще железные ноги, он стал будто колосс на глиняных отечественных протезах в день землетрясений.

На него глядел страшный лысый череп со стальными болтами глаз, из которых с искрами пожарного пламени вытекала лава взгляда. И если была в Горбыше жизнь, то в этот миг она захотела, как пожар на пепелище, угаснуть. Однако череп ничего не сказал, поглядел мимо, будто и не было вохра, и группа черных в раздувающихся черных кожах, молча вышибив турникет, влетела внутрь. «Новый Главный!» – пролепетала, вылезая из-под стула, Ираида. Если б не глиняные ноги, Горбыш осел бы на вовремя подставившийся пол. Вот в этот миг он точно подменился, стал самим наоборот, как сделавшая сама себя овечка в пробирке, перекинулся туда, за горизонт судьбы, где снуют пришельцы в плащах, где кончается и начинается тыл жизни и где страшные трубы ангелов во плоти зовут вохровцев в свой строй. Он стал вполтину другим и понял: год-два – удавись! – он наденет развевающуюся кожаную попону, чистую с воротником рубаху и с реющими, как знамена, черными крыльями вмажется в свое позорное жилище и страшным черепом поглядит на падающую в бледный обморок сеструху-старуху и на плесневеющего на глазах инородца с жалким арбузным ножом.

Поэтому теперь, завидев чумного прихожанина, он спокойно и с достоинством знающего место спросил невзрачного, рыхловатого посетителя сияющей золотом и возглавляемой могучими оборотнями газеты:

– Куда, к кому?

– В отдел, – тихо прошепелявил посетитель, прижимая возможно сухую руку к груди.

– Зачем?

– В какой? – крикнула, высунув из турникетной будки пол-тела, престарелая, но бодрая девушка тридцатых годов Ираида.

– По поводу, – проямлил чужак и опустил глаза.

Ясно, можно было спускаться хмырька с лестницы, хоть нежно, а хоть как положено, чтоб коленями стучал, вроде пианиста, по ступеням. Но не забудьте, вохровец уж был другой, сменивший себя на посту, и на такую слабую поклевку себя прошлого ни за что бы не дернул.

– Не без этого, – вежливо выдавил бывший Горбыш. – А чего поджимаемся, винтовку... обрез под курткой тащишь, несун?

Дурной вошедший нервно оглянулся и облизнулся, будто сглотнул муху, а потом молвил:

– В любой, все равно, – и, порывшись в карманах, вытянул мятую театральную программку времен Древнего Рима и поглядел ее на свет. – В культуру... в современную, – добавил удрученно.

Высунулась Ираида:

– Все кончились в культуре. Ушли небось по театрам, креслы протирать обновками.

Тогда не держащий никакого фасона гражданин еще порылся, достал вообще позорную салфетку с подтирочными каракулями и, осторожно глядя в пол, сбубнил ерунду:

– К письмам пускай тоже... накопилось по разному... от девочки провинциальной пионерки несу сам... обижена отрядом, в строй последней ставят... хоть вы...

– К письмам? – выкинула Ираида. – Письма завершили трудовую будню. – А потом, оценив невзрачного пришельца, как попавшего по ошибке из морга в загс и требующего научного опознания, спросила: – А тебе не в Науку? Кажись, эти не ушли... Ты не учитель какой будешь... труда, или лаборантом старший где?

– Туда! – точно вспомнил чудак, смешно щурясь и радостно краснея. – Туда... по научным... чтобы... читаю иногда по-переводному, – не унялся он.

– Узнай, узнай чего, – крикнула опять теперь все время на вежливом чеку воскресшая после перемен Ираида. – А то будет до ночи топтаться.

– По науке, – презрительно выдавил вохр, но вовремя осекся. – Кто ж теперь не читает... если буквы разузнал...

– Два-два-четыре, – возбужденно указала Ираида на проходной телефон.

– Звоните, пока тут.

– Сам он не знает, почем два на два и чего ему впарилось, – недовольно пробурчал вохр. – Звони вон...

А немного осекся вохр еще вот зачем. С год назад притаскивался в газету такой же, похожий на поганку в погожий день или на сломанный зонт в пасмурный. Еле пустили, а оказался важный академик из членов на допотопной черной громыхающей «Волге», до которой тогдашний ныне инсультник редактор провожал научную светила под мышку в полусгибе и долго цеплялся за дверцы, открывал и махал с четверть часа уже скрывшемуся драндулету. По пронесшимся в газете слухам, со слов дураковатых писунов выходило, что притаскивавшийся – большая академическая на ровном научном полигоне шишка, по экономическим... только вот чего?... или костоправ, но, вроде, по общественному выведению или как там еще. И будто изобрел по увлечениям хоббей специальное научное домино, разбросав кости которого вышла другая стройная картина шара – де стрельцы гоняли взащей Пушкина из Туруханска, Грозный, царь, строил обводной канал, готовя Беломорпуть и стругая руками замученных поляков для него лаги, а потом топил там несогласных стричься нагло бояр. Да и император всероссийский Петр вовсе и не Петр, а Петр и Павел – святые люди, да еще оказался внебрачный от Большого Гнезда и то ли от польской боярыни Морозовой, то ли от Софьи Палеолог. Печенеги у него стали варяги в Киеве, а новгородская береста – прямо из египетского плена второй династии, где умели складно писать палочкой. В общем, бездельные вруны-журналистики похохатывали, крутили по бокам лба пальцами, но громадную статью складно состряпали, подписали академиком, и она вышла, удвоив на неделю тираж. Даже Горбышу перепала мелкая премия, растворившаяся в запчастях старой мотоциклетки.

Поэтому знающий научных мутил не понаслышке вохровец вежливо процедил:

– Наберите, – и ткнул в телефон. – Только кнопки не сломай. – Конечно, такой посетитель запутался в всяке-аппарате, долго тыкался и потел. – Через семерку! – пояснил наконец непонятливому и кособокому вохр.

– Ало! – слабым эхом выдохнул посетитель в трубку. – Науки и образования? Да, я... Ашипкин... Очень важно... Кто? По специальности космических сообщений и технологий... отверточных... болтов, но это секретно... По статье я... тут... Срочности? Очень бы хотел... Ага, да. Ждем тут немедленно, – сообщил он, от волнения моргая вохровцу и почему-то в числе, и отполз в сторону, тихо добавив: – Придут тут.

И правда, через одиннадцать минут по лестнице сбежал сотрудник.

– Кто в науку? – громко спросил он, хотя, кроме вялого, в холле никого и не стерегли. Только снаружи топтался и вертел крыльями ходячий человек-реклама.

Посетитель поглядел на сотрудника, гражданина обычного возраста, роста и сложения, с тяжелыми усталыми глазами, застрявшими в небольших глазницах, с прической бобриком, в джинсах и вольно спадающем крупной вязки терракотовом свитере, и, видимо, остался доволен. Он улыбнулся:

– Выглядите на пять, – подытожил он наблюдения, продолжая улыбаться. – С минусом.

– С чьим минусом? – недовольно скривился газетчик. – Во-первых, здравствуйте, – бегло осматривая посетителя, сообщил он. – Я обозреватель отдела науки и просвещения Алексей Павлович... ну, сейчас у нас, – и походя слегка скосился на часы, что краем чуть задело беспокойного пришельца. – По какому поводу пришли к нам?

– По проспекту трех революций шел... потом по второму свободному проезду... и пешком, прямо сюда, через площадь... На светофоре на зеленый.

– Да... Извините, не расслышал толком: как Ваше... Ощипкин? Извините.

– Нет, – заупрямился, нервно облизнувшись, притаившийся для чего-то в газету. – Ашипкин, – твердо направил он.

– Лучше по имени-отчеству, – смутился обозреватель.

– Ничего не лучше. Хрусталий, – пробормотал нервный. – Батюшка назвал в честь двух недалеких политических... фигур.

– А по батюшке?

– Марленович.

– Звучное имя, – на шаг отступил журналист. – И редкое, но не в этом же суть. Вы, ведь, сказали... занимаетесь космическими коммуникациями и так далее. С чем пожаловали?

Вохр подтянулся ближе и уставился, Алексей Павлович через плечо скосился на него. Мимо пробежали спешащие слиться в город сотрудники, как голодный щелкал зубчаткой турникет.

– Ничего я не жалею. Занимался, – откестился от прошлого Ашипкин. – Был лучшим космическим инженером по одному виду болтов... Ванадий, напряженный литием и с титановой... закрывает газодинамически... пока... для служебного... пользы... – и тоже скосился на ковыряющего линолеум взглядом вохра. – Но не в этом же смысл.

– А в чем? – ловко подхватил обозреватель и опять глянул теперь на уже большие настенные часы, подбирающиеся толстой стрелкой к восьми.

– Статья... Принес тут, – и Ашипкин ткнул себя в грудь. – Сам не решаюсь оценить. Надрывает масштабы. Трехмерность эта... Хотя куда там, перевод хромый. Не металл, состояние. Я уже... но чтобы в комплексных пространствах – не успеваешь задуматься. Словарь убогий, 60 тысяч. А на родном нету. Полиформы какие-то... взяли. Но зачем вывод... чтобы все!

– Прекрасно и чудесно, оставьте. Поглядим, – слукавил обозреватель. – Хотя мы не печатаем сейчас специальные сообщения о пришельцах, о заселившихся в квартиры без регистрации НЛЮ-шниках, о летающих ночами люстрах... О ссохшихся в энергию мальчиках. Знаете... Можем дать отзыв... если сможем.

– Не надо, – заупрямился посетитель. – Просто спрошу его об этом, пусть ответит за вселение смуты прямо, – опять приложил руку к сердцу. – Потому что иначе, я, значит, всему причина и всему виной. Сам. Видеть и... Жить или не жить, вот в чем...

– Ну... ну что вы. Возможно, жизнь возможна везде. Даже на иных, не таких хороших, как наша, планетах. И при любых... э... пертурбациях.

– Пертурбанцах, – поправил Хрусталий и дико оглянулся. – Это аксиома все же, особенно в углах. Жизнь, или ее тень, есть повсюду. В иных измерениях, соединенных особыми

болтами ясности с нашей... Жизнь металлов так же забавна... еще и... Аксиомы для глупых, – неожиданно обидел он журналиста. – А вот есть ли он?

– Кто?

– Ну... Он, – осторожно спланировал посетитель.

– Да кто этот... Он.

– Что тут неясного... Он самый. Дух... святой, – осторожно кося глаза на сторону, промямлил Марленч.

– Что?! – отчаялся понять, кажется, кривляющегося посетителя журналист. – Какой святой?

– Ну... дух. Отец и сын. И сам.

– Сам?

– Да Бог же, – упрямо сжав губы, признался Хрусталий.

– Бог, – осторожно кивая головой и глядя чуть мимо замороченного, повторил обозреватель.

– Он. И иже с ним. Господь, – глядя стеклянными глазами через дверь на мельтешащую огнями улицу, водворил наконец порядок в свои речи несколько скособочившийся посетитель. – Вседержитель и Отец. И голубь вселенной. Един. Как говорится, – тупо промямлил покинувший свой рассудок.

– Это тоже аксиома, – широко улыбнулся через минуту обозреватель, потирая переносицу. – Так. А о чем все же Ваша статья?

– Потешаетесь, – упрямо огляделся Хрусталий. – Насмешничаете. Все смеются, как прокаженные. И наукам все равно, кроме медицины. Точные науки и поют точно. И слаженно повторяют удачный эксперимент. По воплощению... А Вам, поди, все равно... Есть или нету...

Алексей Павлович пожевал губы, нахмурился и сообщил отрывисто и сухо:

– Абсолютно наплевать. Есть или нет... Не встречал.

Посетитель вздрогнул, как-то сжался, скукожился, лицо его покрылось пятнами и незаметными преждевременными морщинками, а на виски выбежали две капли пота. Стал он сразу жалок и стар.

– Извиняюсь за все тогда, – тихо сказал он. – Что потревожил и сам потревожился. Думал... где взять точный перевод. Синхрон. Думал... совета и ободрения... Нужен автор. А то ведь, если нету... или есть, мы – просто чертеж...

– Так вы не автор статьи? – делано удивился непонятливый газетчик, чтобы как-то смягчить неловкую минуту.

– Какой же я автор, я разве похож? – едва ли не плача и дрожа небритым кадыком, прерывистым голосом сообщил посетитель. – Я похож только на словарь для списывания со скрижалей. Какой же я автор, вот уж смешно.

– Очень похож. Вылитый автор, – успокоил чудака газетчик. – Тогда кто Вы, вообще?

– Разве сблизил не видно? – исподлобья глянул невзрачный визави. – Я ясно помешанный.

Обозреватель удовлетворено кивнул, быстро оглянулся кругом.

– Так... Вы, может быть, не туда пришли. Вам в... клинику или амбулаторию надо.

– Не-ет... Медицина наша лечит неизлечимых, которые перешли край, или для заработка, потому что не в силах и не в настроении распознать раньше. А я еще не дошел... Знаете, нужен большой, двадцать лет – с восемьдесят восьмого года в пути...

– Не волнуйтесь так. Сумасшествие теперь очень поддается... у нас и в газете. У нас и статьи были. Могу...

– Я не сумасшедший, я помешанный, – тонко, но твердо разделил Хрусталий. – Нужно оглядеться и вывести. Аксиома. Рухлядь зашорила. Сейчас все такие. Вы, может быть, – в

отчаянии продолжил он, – подозреваете себя... как бы выполняете норматив. Держитесь за рамку. И думаете не напоминать иных, склонных... к полноте искаженного замысла. Изложите свои основания.

– Знаете что, – с сухой обидой прервал неврастеника журналист. – Хрусталий Марленович. Надо сначала все же подлечиться. А потом статья... Газеты... болты. Пожелаю Вам...

– Я лечусь, – угрюмо и тихо сообщил Хрусталий. – Самолечение. Хожу все время ногами, на скорость. Ботинки сносил за лето. Перевожу. За часами внимательно приглядываю. Чтобы не скакали. Дочь с женой навещают... иногда, – при этом обозреватель как-то вздрогнул. – Выключаю постоянно телевизор. Стираю порошком... физическое движение. Стирает лишнюю память. Музыка сфер – не слышать. Болтом занимаюсь, когда соседи шумят, в меру, – понес он совсем ахиною. – При некоторых поворотных нагрузках при изящных изгибах ванадий мягче титана. Только бы американские органы не вывели. Центральное управление... Вот только тень иногда уходит, не нахожу, строптивую, – споткнулся он, встретив взгляд журналиста. – Виноват, прошу за беспокойство. Все прогресс болезненный. Аксиома. Виноват, оторвал... Сам оторван, гвоздь без шляпки. Пойду, – и стал поворачиваться, и пошел к выходу, сгорбившись, и опустив шею, и тяжело переставляя ноги.

– Послушайте, – послал ему вслед журналист, лишь бы что-то сказать. Вгрызлась вдруг и начала сосать жалкая жалость. – А... А автор вашей статьи этой... Кто?

– Триклятов, – глухо, полуобернувшись, сообщил полукалека.

Через секунду застывший было обозреватель жестко, чуть не злобно выбросил:

– Постойте. Стойте! Дайте статью, погляжу.

Ашипкин залез глубоко в куртку и вытянул мятый ксерокс.

– Осторожно, – попросил он, улыбнувшись губами. Журналист пошуршал листами.

– Немецкий специальный журнал. Ревю физических и математических наук. А Вам-то зачем?

– Перевожу за деньги, – тихо признался Хрусталий. – Единственный прикорм и отдушина... амбразура. Статью «Сименс» о перспективных грантах заказали наши наноавантюристы. Вот, выдали в конторе. За деньги чего не сделаешь. Фрукты... яблоки с витаминами тоже...

– А зачем прикидываться? – спросил Алексей Павлович, строго вперясь в переводчика. И оглянулся.

– Из пропусков ушли. Пусти нас, Ираида. Мы ненадолго, наверху посидим.

– Не положено, – влез, приняв военизированную стойку, понадобившийся наконец Горбыш. – Теперь положено огонь на поражение.

– Да ладно тебе, – грубо оборвала воина Ираида.

– Все помешанные, говорите? – улыбнулся газетчик. – А пойдемте-ка посидим немного в пельменную. Тут рядом. Заодно и пообедаем, а то уже весь сок вытек.

\* \* \*

Зеркало треснулось, что за беда! К чертяшкам. Посмотришь: растеклась противная красная рожа, разрезался острым кортиком надломленных граней пухлый отечный пирог на четыре слоистых куска – тусклый лоб с ржавой коркой слипшихся волос, обвисший моллюск сжеванных губ с нашлепиной кислого носа, смазанные липким кремом две ром-бабы обвислых щек, да и...

Прекрасная женщина средних лет Альбина Хайченко еще мельком глянула в мятое лицо своей престарелой близняшки.

– Дрянь старая, так тебе и надо, – злорадно порадовалась зеркальным трещинам на родственном лице. – Ты пьешь, а я нет. Вот с утра ни капли.

Но надменная мерзавка, лизнув губы, нарочно повторила Альбинке все слово в слово, лишь на секунду потерявшись.

– Я встаю! – крикнула красавица, специально отвернувшись от уродины. – Ноги в тапках, а ты валяйся тухлым тюленем хоть до второго происшествия.

За шторами, и вправду, уже вовсю мелькало утро, а может, и прыгал день. Кто их отличит? – если попался в капкан монотонной службы, то да, разница есть. Но не Альбинка, она женщина вольная, потому что больна и все сволочи.

– Все! – Альбинка поискала глазами вчерашнее грозное орудие калибра ноль семь – полную красного зелья бутылку липкого вина, которая точно вечером оставалась почти непочатой тяжестью, когда хозяйка упала в объятия ночного кошмара. Не снимая халата и тапку. Не могли же ночью вылакать тихие друзья, эти – как их... карабашки, барабульки... Скланка нарочно исчезла. Именно ею Альбинка и долбанула вчера по своей передразнивающей зеркальной товарке, когда та стала, издеваясь, корчить симпатичной женщине Хайченко свои кислые рожи и не давала раскрыть рта.

– Молчи, дура, – велела вчера в ночь прекрасная женщина своей уродливой двойняшке, неотступно кривляющей хозяйские милые ухмылки. А потом и шлепнула той по уже испорченной временем физиономии.

Теперь Альбинка встrepенулась и пошла рыться в помойных кучах огромной квартиры в поисках единственного противоядия против мыслей. В кухне в мойке нагло загремели кастрюльки и какие-то собравшиеся вместе банки. В ванной грязное белье хамски уставилось на бредущую пестрыми глазками пятен модной расцветки. «Дрянь грязная», – обозвала хозяйка нестираную рухлядь, упихала ее мордой в белую акулю пасть ванной. Сейчас замочу пеструю рвань, решила расправиться по телевизионному, – и бутылка найдется.

А какая же она была чистенькая в детстве, как Дюймовочка. Тогда «адмирал» еще был командиром, вдоль причального блока топорщились огромные китовые туши темных страшных подлодок и неприступные горы ощерившихся железом торпедных катеров. Но маленькая ладненькая девчушка не боялась спящих китов и затаившихся гор с еле трепещущими сигнальными огоньками, так как папа ее здесь был командир и умел гонять взашей эти рыбы стальные стада и двигать дизельные горы по штормящему океану. Все ее осыпали слюнявыми ласками и баловали конфетками, и девчушка мчалась по дебаркадеру, и размахивала руками, и весело визжала. Потому что знала: сзади бежит, округлив от ужаса похожие на люки глаза и растопырив руки, любимый старый дядька личный боцман и ловит ее в кривые шершавые руки, чтобы, не дай бог, дитя любимого и строгого командира не залетело на легких ангельских крылышках кружевного платья в холодную, мертвую ртутную воду этого далекого восточного околотка. Тогда еще и мамочка была жива и глядела слезящимися глазами на бегающие среди снежного ветра на праздничном плацу военные фигурки, хотя и болела, кашляла и часто уезжала во флотскую больницу, прижимая платок к горлу и худенькую Альбинку к своему теплому седому плащу, водя по Альбинкиной персиковой щечке мокрой своей. А «адмирал» хорохорился, отправив жену, приходил ночью, выхватывал дочку из теплого гнезда, кружил, подняв на руках, в матросском танце «яблочко», топтал крупными ботинками, но потом уходил на кухню и всасывал судорожно и выгонял сумбурно в фортку папиросный дым.

А теперь все дым, он старик, просто бодрый старик, и никакой не «адмирал», а все тот же каперанг, но уже в отставке. Не хватило башки у дубового служаки, даже когда перевели в Главный штаб после смерти жены на вице-адмиральскую должность, высидеть дубовой жопой крупную погонную звезду. Так и промаялся до пенсии на штабных посиделках, с радостным и слезным блеском в глазах выпархивая в редкие командировки на флота, к воде. Ни черта этот осиновый с осенней сединой пень не мог сообразить – каково ей, красивой девушке двадцати лет, гибкой и плавной, как упругая севастопольская волна, представляться

в компаниях наглых начальничьих дочек дочерью «адмирала», кланчить у прижимистого папаши воинское довольствие на модные тряпки и отвечать осторожно обнимающим ее на танцах кавалерам, приученным в казармах военных институтов к жесткой половой дисциплине со старшими по званию девками:

– Вы что-то слишком меня приблизили. Вот пожалуюсь «адмиралу», будете от счастья болтаться на рее в далекой холодной бухте.

Но за флотского молодца она никогда бы не вышла, помнила суровые сопки, заваленные лунными подворотничками сизых облаков, угрюмых молодых офицеров, бодро, поскорее пробегающих мимо маленькой и отдающих для смеха честь, а иногда и горланящих в ночном штиле поселка что-то дикое и слепое, про «наш гордый “Варяг”»... И неумный ветер с близкого моря, и похоронный безнадежный стон чаек...

Альбинка уселась посреди кухни и сдвинула локтем гору посуды. Теперь «адмирал» почти не разговаривал с неудачной, пришвартованной к серой жизни дочкой; когда проходил мимо, то по-флотски выпрямлял спину, наливался суровой неприязнью, подгибал губы и лишь изредка бросал:

– Опять напилась!

Все хотел, видно, сказать: «Как же мамочка твоя, любимая мама, жила среди холодного ветра хрустальной слезой, а ты?» Хоть бы избил по щекам когда. Теперь он, вообще больной, завел себе на утлой списанной дизельной посудине, невесть как пригнанной сюда к реке в речном порту, «военно-морской музей» – обхохочешься! – и пропал там то ли клоуном-директором на общественных началах, то ли ночным сторожем дни, а часто и тусклые, медленно жрущие время ночи. И не с кем было, кроме рыгающего дурь телевизора, красивой женщине Альбине даже поскандалить, такая тихая тоска. Приходил теперь «адмирал» в свою заброшенную, кинутую без женских рук квартиру редко, презрительно громыхал, привыкший к надраенным поручням командных катеров, грязной посудой, швырял на пол серое белье и, оставляя дочке пакеты с провиантом, «чтоб не померла с голодухи паек», уходил, порывшись в своей комнате в бесконечных бумажных архивах и сопя навсегда застуженным в походах носом.

Почему же тогда, когда Альбинка выпорхнула молодухой замуж за «этого», за этого пигмея-журналистика, за убогого заумника-зануду, «адмирал» так радовался и долго обнимал и стучал в спину лапами молодого стройного зятя. Веселился, что скинул с житейского трапа единственную дочь, мутный осколок своей единственной любимой хрустальной жены. Скинул, как в утиль с флотского учета вечно тарахтящую и ломающуюся ненужную моторку.

Альбинка нашла среди кухонного хлама и выгребла из него вчерашнюю бутылку и высыпала из нее в мойку две или три капли. Кто это все выжрал, спрашивается! Чертяшка, адмирал флота всея квартиры. Потом уселась на кухонный табурет, отодвинула ладонью хлебные и сырные корки и сделала вид, что задумалась.

Если доложить отцу честно, то перед ней теперь часто прыгали чертяшки, чебурашки или, как их там, табурашки... барабашки. Те, кто поджигает холодным огнем подлые вещи в квартирах, прячет нужное в укромное никуда – расчески, кошелек с залежной мелочью, почти выскобленную пудреницу, а суют под нос ненужное и ненавистное – фотографию несбывшегося жениха-дипломата, отцовы грязные стариковские кальсоны в июне, острый кортик с призывным жалом...

Альбинка даже полюбила этих зверушков, высовывающих тусклые мордочки из-за дивана или свешивающих свои хвосты старыми шнурками со шкафа. Они единственные внимательно ее слушали и могли понять. Потому что они не судьи, а такие же, как она... несчастные и красивые. Альбинка даже безвозмездно могла им схамить, крикнуть:

– Идите работать, твари. Бездельники... нахлебники... – и они послушно и испуганно жались и шмыгали под ковер.

Но потом прекрасная женщина с доброй душой, конечно, прощала их, этих неумытых крысят, и оставляла по углам непропитого, но уже залитого вином тусклого ковра по корочке хлебца, а иногда и полрюмки, за компанию. И еще они умели плакать вместе с ней, а когда впадала в бешенство, прибирали от греха тарелки старого сервиза и фигурные немецкие чашки.

Да, она пьет, чуть-чуть. Но вы сходите замуж за обидчиков ее жизни. И, если надо, выплюнет всю выпитую влагу в лицо подающего надежды молодого журналиста, которого сперва все хвалят и пророчат горы, а он оказывается пустым местом на причале жизни, «табурашкой», не якорем, а поплавком, не способным к пиратскому штурму звонких высот и abordажу мелких житейских благ, из которых и вырастает счастье благодарной дамской любви и заботливая женская чистоплотность. Если этот оказался не тот, «если друг оказался вдруг...», а жалкий неудачник научно-познавательной журналистики, мелкий придирчивый привязчивый примудливый педант, складывающий копеечные недостатки жены в рублевую стопку неприязни, тянувший десять лет ее... больше... красивую и гибкую, открытую трепетным на ветру молодым надеждам и жаждущую полной грудью волнительного счастья, в крохоборские обсуждения тесного семейного бюджета или морализаторские детские бирюльки статей пионерского толка. А жизнь будет ждать? Она авианесущей маткой мчится мимо!

Что ей, Альбинке, все это говно, если она тлеет, а не горит. И если ты мужик, а не протирачная ветошь и не швабра на палубе грязного буксира, так заработай и одень доставшуюся тебе задаром жемчужину в достойную оправу. И если эта сияющая раковина родила тебе в пучине мук еще и в ожерелье семьи красавицу дочь, мерзавку Эльвируку.

– Дура-дура-дура, – крикнула Альбинка троекратным «ура», душа горло пустой бутыли.

И «этот» еще имел наглость вчера заявиться с утра, опять принес, видите ли, дочери денег. Ей, Альбине Никитичне, своей жене... бывшей... он не дает. Спросил, гнусный пожирающий ее лет:

– Где Эля?

Конечно, как всегда поздоровался вежливой подколотной змеюкой, отводя глаза от позорной грязи, забившего квартиру хлама и неустроенного беспорядка. И кого по этой статье надо судить, может, его, этого «мужа»?

– Ты! – крикнула она, запихивая ногой мусор под диван, в лицо своему бывшему. – У тебя нет дочери! Ты не способен иметь дочь и жену, ты не стоишь ногтя с их мизинца, – про нготь она, правда, зря. – Ходишь гоголем, высоко подняв хвост, мелкий протирающий штанов и кропателю нравоучений в ничтожной газетенке, тупой умник, променявший семью на свою личную тухлую творческую «свободу» и на так называемую удачно присосавшимися к жизни кровососами «приличность». Не порядочная ли ты... Если не можешь достойно и даже недостойно содержать не то что красавицу бывшую больную жену, но и больную убогую кликушу дочь, достойное твоё отражение, хиппи и извращенку, то спроси у ее теперешнего дружка, этого воняющего воблой бородатого бомжа, художника-сутенера и не знаю еще кого. Спроси у за версту воняющего пивной блевотиной и этого так называемого где-то Ахынку: «Где, где моя любимая дочурка, где моя светлая Элька, только год как выпорхнувшая из школы, где моя радость?» Там, в их помойке, в колонии потных похотливых котиков и лежбище блудливых моржей... Иди и ты туда, – крикнула она, совсем трезвая женщина своему бывшему, смешно сказать, мужу и указала на дверь.

Так этот изверг, губитель дней, поставил, видите ли, тоже пакет с едой и взялся уходить.

– Где деньги? – даже без издевки спросила Альбина.

– Денег нет, – спокойным, взвешивающим всегда ее тоном отрезал бывший. – Иди работать, – еще нагло вlepил он ей словесную пощечину. – А то совсем, Альбина, пропадешь.

Точно в эту же дверь два дня обратно... или три? Не помнит, ну да все одно – когда Альбиночка, грустно понурясь, разглядывала не очень различимые свои ободранные ногти, заявила дочура, нежное создание, ангелочек и эльфик, только прошлой весной, как ошпаренная шами кошка, выскочившая из недоп... неподъемной школы со сплошь натянутыми мольбами «адмирала» трояшками... трешками... Пение – пять, сочинение – кол.

– Негде ночевать, – только и процедила любимой маме подлая маленькая мерзавка, родной, почти не пьющей, готовой раскрыть ей руки и... обнять, обнять... и прыщавой принцессой проследовала в свою комнату.

Но почему Альбиночку охватил и сжал ужас тут же – а вот. Следом, воня конской мочой и мыча девертисмент, пропехал туда же, нагло изучая хозяйку черным воровским глазом, треся зарыбленной костями бородкой и еще рыгнув ни с чего, здоровый жлобина в мятых джинсах и по локоть в татуировке.

– Ты куда? – крикнула наглецу отвечающая за дочкину судьбу хозяйка не своим от волнения голосом.

Мерзопакостный чуть полуобернулся и выцедил жуткое и непонятное, оттого и страшное, что-то:

«Ахуйкын», или «Ахнык», или еще похуже.

Как все это матери, женщине, хранилищу остатков очага, как зеницу ока стерегущую флотскую строгость семьи, даже не видеть, а ощущать стареющей кожей, обнаженными и как прежде юными нервами всю эту вонь грубого скота, оседлавшего безмозглую дочь. Альбина, вспотев от нервов, ночью сидела в кухне, глядя в пустую чашку утреннего недопитого кофе, как этот, дочкин – вепрь, невымытый кабан, в майке и обвислых трусах, вошел в кухню, не споласкивая, плеснул воды в чашку и жадно, разливая по майке, выпил. А потом отправился молча в ванную и плескался. Ее водой. В ее ванной. С ее школьницей, боже! Девочка, посмотри на маму не зверьком – обними, погладь, все прощу!

Ведь однажды, и недавно, мамочка решила на простой, как расческа, честный, как уют, трезвый до слезы разговор с тогда еще чаще появлявшейся девочкой. Крепилась, три дня не пила, подходила к нижнему шкапику, брала полную бутылку и сжимала с силой, до слез в глазах. Как шею страшного, одной ей известного подколодного змея.

Дочка спокойно уселась в кресло напротив и рассматривала покрывшуюся от воздержания, недоумения и невзгод неровно заляпанными пудрой пятнами мать.

– Элька, – сказала мама, силясь удержать в кресле ровно и строго свое опадающее, теряющее силу тело. – Я пью, ору, ты меня не любишь. Ладно, и не надо, – почему-то сразу занервничала Альбина. Поняла, что неверно обозначила дочь. – Может, если бы ты меня немного... уважала... я бы. Ну и не уважай. У меня ничего нет. Любви, мужа... Разве это жизнь? Квартира здоровая мне не нужна, я помещусь в углу. Тут все время бегают твари, позорят семью. Хочешь, приедет с подлодки дед, и живи здесь. С кем хочешь. Хоть с парой валенок, – не удержалась Альбинка, и Эля скривилась. – А я пойду в подлодку, буду эс... экс... курсии указкой водить. Я дочка моря, – сказала вдруг Альбинка, и так ей стало страшно от детской памяти, что две здоровенные слезы бухнулись вдоль ее щек на цветной халат. «Зачем такой одела к разговору?» – разозлилась Альбинка на себя.

– Я дочь морей, – повторила она, сжавшись. – А ты отца не любишь. Он чем виноват, не орет, не нудит, сует тебе деньги вместо меня, хотя сам как канатоходец на паперти.

– Ты же его на дух не терпишь? – спросила дочь, округлив глаза. – Он нас бросил, ты зачем его... Он нас кинул спиваться, – крикнула вдруг Элька, подняв, как праведная ученица на уроке, руку. – Падать, плевать, якшаться с пьяными рылами у винного ларька – тебя!

Меня, – забормотала дочь, – краснеть и бледнеть, как безотцовщину. Среди этих... в школе. Красавцев, самцов... швыряющих в тебя обертки фантиков, жвачек и презервативов. Потому что я – никто. Ты думаешь, в школах сейчас учат любить гордых и честных, детей моря? И ты. Я не люблю вас, – повторила дочь, хмурясь и морщина щеки, – потому что отдали себя себе, а не мне. Этот променял быстренько семейную муку на газетную веселую свистопляску для пионеров и старух. Пока его дочка плелась с грязным рюкзачком позади всего гогочущего класса. Эта, – и Элька слабо махнула ладонью в сторону матери. – Отдала жизнь вальсу со своей мечтой. Или пьяному канкану.

– Молчи! – крикнула Альбинка. – Как ты можешь! Ты почти адмиральская внучка.

– Я внучка морей, – кисло скорчила рожу Элька. – В море и уйду с этой палубы, как простая рыбачка.

– Ах! – воскликнула мать. – Ее бросили с рюкзачком. И где ж ее оставили, безотцовщину. В огромной трехкомнатной... даже... четырех... Где даже можно заблудиться, и призрак тебя не отыщет. Где в поисках ушедшей... на шаланде ветров... внучатки старый падающий от веса медалей на кителе дед обыскал все углы. Где ее ждут и любят. И даже этот отец, подкидыш несчастий, убудок невезучей судьбы... И тот через день таскает на жалкие свои газетные гонораришки своей Элочке фрутики и конфетки. Не мне. Тебе. Ты почему дома не живешь? – тихо добавила мать.

Теперь из глаз девочки, которая, восемнадцатилетняя оболтусиха, всегда останется для мамы шестилетней крохой, в свою очередь вырвались две злые короткие слезы.

– Я ушла, – сказала девчонка спокойно. – Ночевать иногда прихожу, потому что этот... бородатый зверь гонит. Других гладит... Я ушла. Иначе, – повысила дочка голос, – буду, как железный кусок торпедоносца или тральщика, без души и мозгов, отдавать честь по команде, совесть по разнарядке, а любовь, как дневальный картошку, распоряжением старшего по званию. Кто попогонистей, тому побольше. Как ты. Или возьмусь с утра до ночи тискать газетки, закрываясь ими от звериной жизни. Или совсем упаду годика через два в белой горячке, обнимая стеклянных человечков и зеленых собачек.

– Мне стыдно, – тихо сказала мать. – Но я себя уже не знаю, потерялась. А тебе не совестно, молодой, так жить?

– Мама, – честно ответила дочь, – когда все время совестно и стыдно – надоедает. Стыд, как лед в жару, тает и тает. Я тоже скалка... черт... скакалка. Мне с той безбашенной кодлой, где я пропадаю... и пропаду... веселее. Я устала стыдиться. Я там такой же кусок общего тела, орган. Вонючей общей кучи малы. Ноготь или мизинец. Или пупок. А вы давайте собачьтесь и дальше. Смотреть на вас больше не могу. Хоть и, само собой, люблю.

– Так ты совсем не хочешь по-человечески жить? – спросила Альбинка, уже не сдерживаясь. – Не как мы. Сама, как человек.

– Не хочу, – вяло оклеила Элька. – На кого ни глянешь, кто по-человечески, все какая-то марля с тухлыми мухами, тянучка высохшей дохлой кошечки-любви. Заначки, обманы, побочные дети, курортные выкидыши. Хочу пусть не долго, но ярко, но окунуться с головой. В девятый вал, – подняла глаза недавняя школьница.

– Ты! Ты! – вскочила Альбинка, сжав кулаки. – Ярко я, посмотри на меня. Где я, мечтальница.

– Не нашла своего дурака, – безразлично и, кажется, гадливо гукнула дочь в сторону, в стену.

Альбина опять тут рухнула в кресло, закрыла лицо руками и поняла – «проиграла».

– Ты отца совсем не отгалкивай, – тихо попросила мать. – Он слабый зверь, копытный. Упадешь в яму, он за тобой.

Дочь помолчала. Потом сообщила:

– Жили вы жили, деток накрошили. А друг дружку ни капли не знаете. Будто чужие лопухи из соседних дворов.

Альбина подняла на Элю глаза:

– Элечка, ты ведь цветочек еще. Мой цветочек, лопушок.

Тут-то цветочек встал и удалился из квартиры. А Альбинка заорала:

– Дрянь, отравная поганка. Исчадь своего недородка папульки... Безбашенная упрямая ослица... Зеленая Чебурашка!

И поэтому во время последнего визита благоверного Альбиночка повторила вчера бывшему пожирателю ее несостоявшихся надежд:

– Иди и ты. Туда, где вы все. Такие добрые. На работу меня посылает.

– Работать, – сипло произнесла красивая женщина, сползла с кухонного табурета, нацедила, громыхнув пустым чайником, воды из крана и, давясь, выпила. – Работать!

Она готова. Она хочет работать. Но куда ее возьмут? Убирать подъезды – страшный конкурс татарок и таджичек, способных до поры до времени за гроши часами возиться в чужих отбросах. Таскать газеты в тачке – у нее трясутся руки и немеет от усилий левая ступня. В свое время бросила молодая восторженная невеста языковой институт, куда и так еле впихнул ее, через жену начальника, «адмирал». Архивариусы, библиографы, документооборот – господи, какая нудная белиберда. Хотя теперь-то, недавно, вывалила из отцовского шкафа книги и папки, и протирала, и расставляла в стройные, будто салютующие ей ряды по корешкам, гусары к гусарам, уланы к кирасирам. Выпив перед этим всего полбокала. Все ей, Альбине, по рукам, женщине с непотухшей красотой.

А все потому, что нет любви. Ау, любовь, где Вы? Год или два, и без нее молодая красавица превращается в половую тряпку, рассыпаются шуршащей крупой надежды юной студентки, и череда дней стряхивается, как нитка бус, и они закатываются за диван, за ковер или в пыльный угол, где их уже ждут запасливые хлопотливые чертяшки. А красота?

Женщина Альбинка запахнула потуже халат и, пошатываясь, отправилась опять к недобитому трюмо и опустила на пуфик. Из зеркала на нее ощерилась жуткая мужская рожа.

– А! А-аа! – низким тоном завопила хозяйка, прижав кулачки к ушам. – А!

– Не ори, чего орешь? – спросил жуткий хриплый голос из зеркала, из рта рожи.

– Ты! – заорала красавица, сорвала с трюмо подвернувшуюся вязальную спицу и собралась вонзить в глаз зеркалу. – Ты-ы!

– Чего орать, – повторил зеркальный мужик. Альбинка резко обернулась и вскочила, спица хищно дрожала в ее руке. – Эй! – сказал бандюга, отступая на шаг. – У тебя протечка. Весь низ залило.

– Убью, глаз проткну. Насквозь, – пообещала Альбинка тихо. – У меня отец «адмирал», скоро придет. Сроком не отмажешься, в тюрьме сгниешь.

Мужик потоптался секунду, опять чуть отступил.

– Дверь-то оставила открытую для кого?

– Что?

– Дверь, говорю, открытая, вот и вошел.

– Вот и выходи, как вошел. Я когда ору, на весь подъезд слышно.

– А ты не ори, – посоветовал мужик, – меньше воды с тебя выйдет.

– Убью, если врешь.

– Да ладно, – миролюбиво согласился мужик, – могу и уйти. Мне чего. – А сам подумал: «Удушить бы тебя, дура, подушкой. А после с балкона скинуть, как куклу Мальвину».

– Ты кто? – округлила глаза Альбинка.

– Мы слесаря. Течет от вас, вот и вызов. А то мне больно надо глазом рисковать.

– Иди в ванную, – велела хозяйка. – А я проверю, что ты за слесарь.

Осторожно она проследовала за коренастым опасным мужиком небольшого флотского роста, по-слесарски облаченным с грязноватую робу. Ванна стояла по уши в воде, это дура хозяйка бросила замачивать белье и все забыла.

– Протекло, – деловито сообщил слесарь, перекрывая и спуская воду, шлепая в кедах по болоту. – Оплатишь соседям по полной. Подмывать то будешь?

– Да пошли вы, – вяло промямлила дочь «адмирала», уперлась на кухню и там, сев на стул, тихо заплакала, прислушиваясь, как мужик в ванной возит какой-то тряпкой и сливает воду. Через время мужик сунулся на кухню и нерешительно спросил, слушая, как хозяйка хлюпает носом:

– Оплатишь, что ли? Или акт составляю.

– Военморы вас, гадов, грудью защищали, – выдохнула Альбинка, – а вы – акт. Звери. Выпить чего-нибудь есть?

– Конечно. Сейчас! – слесарь мастеровито оглядел кухню и уселся на стул напротив Альбинушки. – Может, чайку? Со сладким.

– Конечно, сейчас, – злобно отозвалась хозяйка.

Но встала, прошлась по захламленному пространству, оглядывая все удивленно. И тут увидела пакет, оставленный «мужем». Там лежали хлеб, сухая колбаса, сардины, что-то еще, сок. Альбинка стащила в мойку грязь со стола и выложила жратву. Шлепнула на плиту кипятиться чайник и вновь уселась.

– Хорошо тут у тебя, спокойно, – сообщил слесарь, накладывая сардины на ломоть хлеба.

– А ты мне не тычь! – воскликнула женщина. – Ты кто есть такой? Напильник от зубила. А у меня отец адмирал, соединением командовал, тыщи таких под воду навстречу водорослям отправлял. Чтоб всем вам гнить достойно.

– Ладно, – примирительно отступил слесарь и вытянул из внутреннего кармана, как факир женщину из распиленного гроба, небольшую фляжечку. – Слякки-то найдешь, командир?

Альбинка посмотрела на водку, на грязного, криво улыбающегося слесаря, на свои облупленные ногти и опять захныкала.

«Вот дура, – подумал слесарь. – То дай, то не дай. Вроде, не пьянь, от вида водки слезится. А в доме – какой там адмирал».

– Не гунди, – сказал. – Со здоровьицем.

Альбинка хлопнула, поперхнулась и заела, давясь хлебом.

– Если захочу, то через час здесь будет стерильность. Только чихну! Чистота и хрусталь сиять. А... через полдня... вообще будет все одно к одному, постирано и глажено. Вот, – метнулась в комнату и вытащила на кухню и предъявила слесарю идеально отутуженный праздничный воинский костюм отца. Слесарь несколько подобрался, даже утер замасленные губы. Альбина вернула костюм в строй шкафа.

– За море, – сообщил слесарь, чуть плеща из бутылочки.

– Если я захочу, – повторила, – завтра за мной здесь будет муж, полковник штаба тыла, который разведен и три года круги вокруг выписывает. И денщик на побегушках. А горничная будет уютить с семи до двадцати семи ковры в спальнях, как вечный двигатель. Как вечный дневальный... Под бодрые марши.

– Чего ж не хотишь? – ехидно скривился слесарь, подливая только себе.

– А не твое дело, – резко выступила хозяйка, отодвигая и разбрызгивая из стопки. – Твое – прокладки менять, и чтоб у всех без протечек. А то напишу телегу, и в ДЭЗе тебя изымут. Вычеркнут из списков. Внесут в списки списанных на берег и выпавших за борт. В надлежащую волну.

«Сволочуга, – подумал слесарь. – Сама, вроде, так не ведьма, а грозитя. И водку брызжет, миллионщица. А у самой, небось, и мужа нет».

– Мы свое дело знаем, – сурово возразил вслух. – У рабочего класса все права не отымешь.

– Что права? – изумленно возмутилась хозяйка. – Одни права в цене – водительские. А все остальные – дым и копоть. Ты что с ними, спать будешь?

– С кем? – потерялся слесарь, а сам подумал: «Наверно, заразная. И болезни плохие».

– С правами, – и Альбинка глотнула водки, глубоко выдохнув.

– Чайник отключи, – посоветовал слесарь.

– Сам что, безрукий? – обозлилась хозяйка. – Нужны связи, связи, слесарь. Одна только подруга может нагрузить тебя больше, чем три института и два училища.

– Какая еще училища? – непонятно с чего обиделся мастер разводного ключа.

– Слесарная, – выдавила Альбинка, жуя колбасу и уставясь в невидимую стену. – Вот у меня, лучшая и закадычная. Девчонками на танцах и в компашках, не разлей шампанское. Алеська, дочь полного адмирала, замкомполит-гарнизона. Гарнизоны, когда его видели, дыбом волосы под бескозырками вспухали, у офицеров от кортиков моча струилась.

– Прямо моча, – испугался слесарь. – Со страху, что ль?

– С любви, – иронично прищурилась хозяйка, презрительно оглядев человека без кортика. – Лучшая подруга тех дней. И сосватала мне жениха. Стройный, в танце носится, как ошпаренный. Сноса нет. Изящен, талия, рот не закрывает. Только почти по-французски и испански. Почти дипломат. Красавец.

– И красавец? – скривился слесарь и сожрал здоровый ломоть сухой.

– Ну не ты же! – заорала Альбинка, вся бесясь. – Если сложить сто таких, как ты... или сто сорок, все одно, красивее его не будет. Жемчужные зубы, улыбка в пол-лица, а из них идут сладкие слова в девичьи розовые ушки. Одним словом, дипломат молодой, прямо перед командировкой. Подыскивает не срамную пару.

– Тебя, что ли? – усомнился слесарь, а сам подумал: «Рожа опухшая, но видная, может, когда и клюнул дипломат».

– Меня, единственную, – неожиданно тихо, вспоминая, прошептала Альбина. – Я, конечно, смекнула, что подружка Алеська... со своего плеча обноску. Прямо подхожу... на одном пикнике на их даче возле служебной «Волги» и спрашиваю лучшую напрямик: «Гасканое, со своей груди даешь? Видишь, что втюрилась я?» А Алеська, тоже парная, под шампанью, отвечает:

– Зачем мне, Альбинушка, два. Видишь, с молодежным шустрилой сошлась. Это тебе с чистого сердца от меня сюрпрайз... Брюссель, Париж, Рим, далее везде. Не смотри, что чуть штопанный, зато нежный

И жмурится. А солдатик-шофер, что на пикнике в «Волге» сидел, со страха, что лишнее слышит, прямо в сиденье втерся, весь белый. А мне что! Я к дипломату подошла, за руку цап! Идем, говорю, милый, на антресоль. Буду тебе давать представление «под куполом цирка». Будто под розовым парусом в бескрайней регате. И, слышишь, слесарь, я такого нежного больше в жизни и не встретила. Все битюги, уроды и импотенты. А потому что дипломат. Весь в этикетке вымученный, как в винном соусе.

– Ну и где он?

– Кто?

– Париж этот Лондон.

– Закурить есть? – спросила грубым голосом Альбинка.

– Не дымлю, зря добро переводить.

– Так ты тоже дипломат? – усмехнулась «адмиральская» дочь и вытрясла в рот капли из стопки. – Сдулся дипломат. Оказалось, назначили его в глубь африканских племен – Бур-

кина Фасо, Бермудское Конго, где крокодилы от заразы сто прививок колют. Как он меня на коленях умолял в Африку эту, к бедуинам верблюжьим, как плакал по-французски и ругался испанским матом.

– Есть такой? – встрепенулся любознательный слесарь, а сам подумал: «Эта много знает».

– А ты думал, – подначила Альбинка неуча-дурака. – Только мы мастера. И Брюссель, и Монака эта – везде своя ругань, огни сияют, люди с пакетами из кабаков в супермаркеты прутся, из бутиков в офисы снуют. Везде жизнь. Где нас нет.

– Это ты зря, – возразил слесарь и пощупал карман, где у него была еще одна склянка, но не вынул.

– Я все зря, – закручинилась хозяйка, плеща в кружку чай. – Подсунула мне, лучшая подруга зовется. Вот и выскочила с горечи за этого. За газетную мышь. Думала, буду Главным редактором модных журналов нос показывать. Теперь сижу дурой, с больной дочкой на руках... А через три года лучшая бывшая Алеська нарочно мне звонит и спрашивает: «Твой из Африки вернулся, в Амстердам навсегда посылают. Плачет, тебя хочет... видеть. Будешь встречаться?» А мне куда, у меня сосунок на руках. Я спрашиваю: «Где он плачет, у твоего плеча на раскладушке?» Она хохочет, заливается. Всегда была самая среди нас веселая... при такой папаше. Вот так.

– И чего ты хотела! – справедливо вставил слесарь. – Мордой, как ворона, надо сыр вовремя чують.

– Ничего не хотела, – сникла рассказчица. – И не хочу ничего. Ни грязи проклятой, ни хлама всего этого, ни водки твоей сволочной, – и она нервно опрокинула ладонью стопку, так, что та брякнулась и покатилась с пасторальным звоном. – Хочу быть маленькой девочкой, у моря стоять, чтобы ветер и дождь и чтобы сзади меня мама плащом кутала и соленые капельки со лба ладонью опять смахнула...

– Эж, чего захотела! – слесарь приобнял за плечи опять налегшую на слезы хозяйку. – Знаем мы этих дипломантов. Баба ты хорошая, – сказал, немного смахивая с себя в сторону потный запах. – Только зря волну гонишь.

Приобнятая сидела так с минуту, пригорюнившись, потом подняла на слесаря трезвые глаза.

– Я тебе не баба, – тихо сказала. – Боров вонючий, – и скинула его лапу с плеч, и заорала, вскочив. – Я тебе не баба, говнюк. Я адмиральская дочь. Пошел отсюда к матери. Расселся в чужом тепле.

– Да больно надо, – скривился, тоже валко вскочив, мастеровой. – Мы и не таких видали, – а сам подумал: «Точно, больная».

Красавица Альбинка вдруг схватила с холодильника опять невесть как попавшуюся спицу и хищно направила ее в зрачок работающего человека.

– А ну, выметайся. Сейчас глаза буду колоть. Топай дело делай, расклячился на чужой площади.

– Да ты не очень, не очень, – в меру грубо отплевываясь попятился слесарь. – Если, думаете, адмиралы...

– Гад, схватил ослабшую женщину. Стыда нет. Давай, вали вон туда, туда, – крикнула Альбинка в ярости, тыча спицей. – Работу делай, протечку устраняй. Шляются. А кругом все промокло, не расплатишься. Уселся! Туда, туда пошел. Там вон тоже протекло.

Гонимый спицей и разъяренной хозяйкой растерянный слесарь очутился вдруг в комнате, где шторы, шкаф и кровать.

– Ты чего? – развел он руками. – Сдвинутая? Где тут промокло?

Альбинка бросила спицу на кровать и посмотрела на работягу безумными прозрачными глазами. Потом задрала полы халата и показала:

– Вот здесь, здесь все промокло. Не видишь?  
«А может, не больная? – подумал слесарь. —  
Все-таки адмиралова дочь».

Уже поздно вечером, когда слесарь давно отправился, шурша виновато бумажками вызовов, Альбинка улеглась в кровать и подумала, уставясь в угол, заявятся ли сегодня чертяшки поговорить на ночь. Она бы порассказала им, как некоторые наглые хамы слесаря пользуются минутной слабостью адмиральских дочек.

И еще она подумала, какая я еще все-таки симпатичная и славная.

Но барабашки не явились, и красавица женщина не обиделась, потому что уже наболталась сегодня вдоволь, и даже ни разу вечером не подошла к зеркалу. И заснула без снов.

\* \* \*

В грязной пельменной на черных и зеленых гвоздях медленно фланирующих мух висел чад. На двух натуральных, высунувших свои шляпы сгнивших поганок, гвоздицах свисал косой занавес, освоенный мушинными авиаматками, как полигон для зачатий и опорожнений. Изредка занавес отлетал, являя угол пыхтящего чана и силуэт пробирающегося по чаду хинкальщика с утерявшими зрачки пельменями-глазками, выискивающего в углах заведения какого-нибудь свежего посетителя. Однако все трое-четверо вечерних затворников колдовали по углам над пахучим месивом, сдабривая сомнительные блюда влагой из захватанных графинов. Один, отставник или не получивший жилья военспец, все время что-то шептал, разглядывал на свет недопитую рюмку и водил пальцем по линиям судьбы на свободной ладони. Другой и вовсе появился позже расположившихся за столиком обозревателя и его гостя, сгрузил предварительно на улице перед входом с плеч рекламный щит, вперся в тепло и тут же уселся почти рядом, смахнув рукавом со стола чужую труху:

– Тут устроюсь. Замерз, а от вас жар, – радостно заявил он затеявшим разговор посетителям

Но заказал, порывшись в карманах, только рюмку и молча стал разглядывать в водочном зеркале свое небритое отражение.

Выпили. Что поначалу нес Хрусталий, журналист почти не запомнил. Странная их беседа, как и, впрочем, все это заведение, состояла будто из отдельных фракций, несоединенных и не имеющих общих связей – ни логических, ни добрачных, ни в виде водочных братаний. Редкими мухами жужжали мимо сознания газетчика отдельные выкрикнутые Ашипкиным, не граничащие с только что сказанным фразы, иногда он брался за какой-нибудь им же забытый эпизод своей биографии, будто вывешивал перед слушателем грязный, захватанный временем занавес, лучше скрывающий прошедшие года, чем полный анемнез. Но по большей части в своих словесных блужданиях Хрусталий словно исчезал в тусклом студне пельменного чада слов и жил среди невнятной скороговоркой брошенных фраз один, в одиночестве, покинутый и газетчиком, и всем миром заодно.

Хотя Алексей Павлович и не поручился бы, что в разных неповоротных и легкоплавких эскападах визави сам не влезал в ровный, болезненно безразличный ток рассказа Хрусталия брошенными на съедение безразличия репликами и неуместными инсинуациями. На вполне естественный, как казалось газетчику, вводный перед первой, пригубленной обоими рюмочкой вопрос: «Как же Вы, Хрусталий Марленович, вдруг пришли в переводчики?» чуть помешанный чудака начал совсем издалека:

– Если падаешь, держись за себя. За воздух и облачка не схватишься, – и, казалось, все, что он бормотал за столом, узкое или выше роста, все доставляло ему истинное и мучительное наслаждение.

Часто говорил он вдруг о газетчике в третьем лице, не как о сидящем напротив живом собеседнике, а как о снежном человеке, лох-несской рыбе или соседском попугае.

Держись за себя. Планируй, складывай крылья. Если упал, отожмись, учишь читать следы. Быть ботаником и натуралистом, следить за колеями червей, за их сложной нервной жизнью. Рядом! Вот тоже, спрятали крылья. Не видят, но обоняние их поднимет. Их вознесет над тобой ветер пути, запах памяти. Вонь утрат. Лопнуло все – терпение, пение внутренней тетивы, и угол поджелудочной загнулся. Как хорошо, как сладко раньше пахли мысли. И улыбался нам, петляя, след далекого конца. А этот, чудной, чужой обозреватель шарад еще не различает: «Не подмешан, не подвешен в серебряной амбразуре риз, не подвержен поварешке главного кошевара, не нарушен: слои теплого – счастье, и холодного – страх, залегают в своих горизонтах. И струится меж ними, как в распятой лягухе, ток».

Но легко глазами, начинающий слепой – на ощупь, сразу увидит любой пустомеля: этот сумасшедший – чистой воды врун. Мутный кристалл, хрусталик, испорченный донельзя слепящими туманами мельгешащих рушащихся дней и забот. Темной лампой горящий над своей операционной головой, сын неизвестного отца сынов, отраженный дурацкими ужимками огоньков на пластмассовой панели грязного стола, отвернутый наоборот, как испорченный болт, и отвергнутый шепотом единственных губ. Что может знать этот газетный калькулятор, обозревающий холодными экранами глаз его нутро, холодное и пустое? Не спрашивай. Я просто Ашипкин, и меня нет.

Тут и вцепился в пьяненькую пельменную человечек-реклама, стирая с лица строки дождя, сбил очарованного дурью слушателя-журналистика и позволил тому – после проглоченной рюмки жижи – настоять на предмете разговора:

– Рассказывайте-ка лучше про... Про что хотите...

– И про не хотите что, – громко подсказывая, прошептал из пельменного тумана прибывший рекламный галерник.

– Рассказывайте лучше про эту вашу статью, – мягко, словно недавно высунулся из наркоза, и улыбаясь, повторил обозреватель

И Хрусталий тоже огляделся в убогом помещении пивнухи. Теперь было ясно видно: Хрусталия раздражала и путала лишь не сходявшая с губ чуть заметная улыбка обозревателя, да еще часто упрямым ишаком вваливался в зальчик чернявый подавала, источавший неприятный запах женских старушечьих духов; тогда и Алексей Павлович дергался, косился, и улыбка его переплывала в гримасу, способную и пугнуть Ашипкина, коли он не столь бы часто витал от беседы далеко.

– Статья особая. Само собой. Пришили. К сердцу, не буквы. И слова соединенные по их правилу. Заблудился. В немецком техническом, – терпеливо пояснил переводчик, возвращая себя в зал. – Случайно. И только конец, где... про это. И передок...

– Передок? Начало.

– Начало всех начал. От журнала. Вводная речь этих немцев. Увидел русскую фамилию. Со словарем уж быстро кручусь. Ага, думаю... Что? Ага, наши дают прикурить. Везде наши. Лучшие... загнанные умы. Если наши, то думаете, все помешаны с другими пополам?

– И что статья? А Вы почему переводите, Вы же по... шурупам. Из космоса.

Хрусталий воззрился на обозревателя и, видно, подумал: «Какой дурень в такой культурной неглупой оболочке».

– Он из ближнего космоса, руку подать, – буркнул себе под нос литератор Н., вытрясая в себя остатки капель из рюмки. – Как Белка-Стрелка.

– По болтам, – терпеливо уточнил неучам Ашипкин. – По болтам, нынче здесь, а завтра там. Нечистым. Двадцать лет на одной фирме под подпиской руки по швам. Без выезда никуда.

И Хрусталий, заливаясь желтой слюной, стал талдычить этому мелкому приводу в газетном механизме про голод 86-го года, про пустой, выцарапанный до дыр кошелек.

Закрылось на амбарный замок родное околонучное прикосмическое производство; за стрелками охраны недоступны оказались родные изделия, сконструированные им так ловко, что ночью являлся к нему и жал потную руку Главный, и выдавал диплом и переходящее, и теперь красное, знамя.

– Знамя неси-ии ты впереди-ии, – затянул вдруг Ашипкин, бесстрашно фальшивя. – Память борцов разбуди. Молот в груди-и к сердцу веди-ии. Мо-олодость пой не один!

А фотографию Хрусталия присобачили вечной кнопкой посреди шевелюры на доску почета. И ночью во сне вокруг кровати, тогда уже односторонней, сгрудились худые пришельцы, хлопали похожими глазами и дутыми гибкими ладонями, апплодируя его конструкторской сметке. И точному чувству некоторых спец-сплавов. Правда, один прошептал под утро, перед петухом: «Зря ты, Марленыч, на все ночные смены сам из рук жены рвался. Любишь, знаю, да и деньги хорошие приплачивали. Но жена и дочь тоже ласковые цветки анемоны. Ну а теперь писька – ни к черту. Жена орет вперед: кто кормилец – я?! Дочка – пять лет».

– Дочка, девочка, девчушка... хорошенький голубок... – завелся Ашипкин, потом продолжил вдруг.

Один раз пришел домой к ночи, рысачил по недоставшимся недоступным заработкам и явился, как проигравший все заезды и смыленный начисто рысак. Седловину натер до крови рюкзак с авторскими свидетельствами и специальными, для предъявления при благоприятных обстоятельствах, книгами и в соавторстве статьями. В горле хлюпал шар сухой слюны, в калошах и носках стояло по колено затхлое болото, мыло в магазинах исчезло. Схватил чай, обжегся и, почти падая на диван, слопал, черпая чайной ложкой, почти все набухшее свежевзбитой водой пюре.

Через час открыл глаза. За столом дочка-пяtilетка дочерпывала ложечкой остатки пюре, а потом, ласково глядя на затасканного отца, взялась водить железкой по пустому донцу тарели и, облизываясь, весело щуря коричневые голодные глазки и лаская ложку розовым язычком, приговаривать:

– Ложечка курочки. Ах, вкусно! Ложечка крема, ах густо. Чашечка компотика, и еще – пять лепешек с днем ангела и край пирожка с воскресеньем. Ах, сладко, да солено, да перчено.

Хрусталий посмотрел на девочку, глаза его сжались, и лобные доли размякли, как при остром гайморите, будто наполнились сыпкой мукой. Тут и постучался к Хрусталию первый важный сигнал. Ему померещилось: сидит рядом не его дочь, а какая-то красивая куколка из пустого магазина, где на нищих полках ничего. Хрусталий тянет к ней руки с сорванными до крови ногтями и ласково зовет: иди, иди, накормлю. Но куколка-то не дура, она смеется и моргает глазками, и оправляет заплатанный сарофанчик и говорит шепотом:

– Иди, иди, дядя. Бог подаст. Мамка зайвится, устроит тебе чистку мозгов и стирку совести, глажку нервов и выметет мусор надежд на задний твой двор. Иди, где все подают.

То, конечно, был бред, двухнедельный бронхит и озверевшая от вызовов врача, впиивающая ледяными пальцами холодный стилет под мышку. Но вроде выкарабкался.

И тут Ашипкин, наверное, в маленькойпельменной переусердствовал. Он протянул коряво руки к газетчику, а потом к ближнему соседу и в туманпельменной и стал, соря слюной, повторять, не сгоняя мучнистой улыбки с лица:

– Иди-иди-ди-ди-иди-и... – так, что сосед-реклама пересел подальше вместе с пустой рюмкой и вперился, газетчик сжался, апельменщик подбежал, думая пополнить заказ. Но Хрусталий продолжил, вдруг выскочив из транса.

Наконец, выселили на раскладуху. Ашипкин подходил к солдатски заправленному лежаку, стучал, взбивая, подушку, и сильно отдавало в голове. Денег стало так мало, что он разучился их считать. Стал многое забывать, вспоминал вид своей мамы только через тайком вытащенную из старого фибрового чемодана под раскладушкой фотку – вот она, мама, какая. Жена сплюнула на подушку и подалась в бухгалтеры, теперь, возможно, меняет раз в неделю английские кремы на итальянскую обувь, японские шампуни на французские плечики. По-настоящему стала молодой. Почти юной.

– Знаете, – крикнул вдруг Хрусталий в бешенстве, – взялась ходить на презентации литературных бомондов, на чтения извращенческих стихов, увлеклась зарубежной пресой... Поллюбила газетенки, этот мусор, шуршащий в божьем мире, эти черные крылья над слабыми людьми... Слов знает по-ихнему: пардон да мусье. А возьмет утром... эти Нью-Йорк... там Гаролд или Тимес... и шуршит, и шуршит, как крыса в подполе. Да-а...

А дочка вот совсем недавно нашла крепкого сметливого крикуна, крутили тенями бумажек Чубайса и Мавроди, и под бело-голубым флагом невесты всплыла в какой-то другой мир, где Хрусталий не был и на пороге. Как не оправдавший пришелец. Стал тогда Хрусталий искать деньги, чтобы питаться и не видеть презрения уже чужих жениных глаз. Вспомнил школьного одноклашку, шалопаю и гитарного бренчуна, тот химичил в технических редакциях гложущих журналов, но жил отчего-то в сладкой истоме и, когда звонил, сытно и громко нарочно икал в трубку, спрашивая про доходы доходяги. Вспомнил чуть смешанный человек немецкие жестяные буквы, консервными банками предикатов вылезшие из школьных воспоминаний, проштудировал замысловатые многотонные глагольные пирамиды, фермы и конструкции, будто нарочно родившиеся из вавилонских языков для инженеров, морализаторов, резонеров и философов. И тоненьким ручейком потекли за переводы, за выпрошенные у школьного шалопаю статейки – копейки и рубли, размножавшиеся нулями вместе с впадающей в нищету попрошайкой-страной. На столе появился хлеб, чай, колбаса, которую Хрусталий полюбил сначала долго нюхать, и она пахла нарочно – забытой женой, потом свиньи и машинным маслом пропащего опытного производства на бывшей работе канувшей в космические дали отрасли.

Жена, впрочем, стала часто приходиться с бухгалтерских курсов ночью, пахла пахлавой и шашлычным дымом, и он, начиная свинчиваться, поставил на стол газетный портретик

Чубайса и, собираясь пить чай, предлагал тому за компанию: «Колбаски, сырку?», или спрашивал, тупо улыбаясь:

– И где же, господин, наши приватизационные фантики, кто их слизнул? – хотя сам Ашипкин, садист, как прекрасно помнил, сам снес их, радостно кудахча, каким-то ласковым охмурялам, обещавшим государственные клятвенные дивиденды с каждого выстрела комплексов С-300. Помнит этот грязный с приветливыми красавицами-барышнями подвал, через месяц захлопнувшийся навсегда на ржавый амбарный замок.

– Тут я и стал иногда терять себя, – тихо хмурясь и страшно сжимая глаза, поведал, подняв на вилке пельмень, рассказчик. – Ашипкин, где ты? Какая резьба – правая...

Сядет переводить, застрянет в безумных конструкциях чужих слов, в чуждой грубой логике фактов и чертежей, и вдруг вздрогнет – где он, Хрусталий, совсем заскочивший за чужие страницы. И начинает, вспотев, листать и листать, трести книжку или сборник...

– Прошло двадцать лет. Забыл болты, – устало добавил Хрусталий, мельком глянув на озадаченного журналиста. – Забыл, почему одно крепится к другому. Все плавает в подлунном само с собой, не опираясь... Вот прочел, – и он ткнул в ксерокс статьи, – редакция на их чужом языке пишет буквенно: г-н Триклятов двадцать лет назад, ровно на заре моих мешаний, изобрел формулу, или решил чужую. Уравнение Бройса– Хопкинса нестандартного вида. И вышло, что все главные константы мира связаны одна из другой простеше – как пельмень с начинкой: и тяготение тел одно от другого, и безумства электромагнитных

полей внутри метеочувствительных особей, и любое сияние, свет по-вашему. Хоть свечи, хоть блестящие торжественных риз.

– Световых колебаний, – тихо аукнул обозреватель.

– А пускай и тьмы. И, будьте любезны, выходит, пишет редакция, из той старой статьи тогдашний этот автор, тот же молодежь разумом Триклятов сделал ход. Куда же, батюшки?! Проход к богу. Нет никаких, мол, сил предположить, что сконструировать такую тонкую связь всего со всем мог бы иной, кроме... Кроме Него, Этого... Слишком не по уму обычным, нам то есть и другим всяким мельгешащим, чтобы в одно решение схватить взрывающиеся галактики, черную энергию человечков и слабые взаимодействия мелких ядер, ореховых и других. Идите, мол, получайте Филдсову премию за углом природы, раз застудили...

– Триклятов тогда, писали, отказался от всех премий и почестей. Так вспоминаю, – уточнил, хмуря лоб, газетчик.

– Пишут! – вскричал неожиданно помешанный, жестикулируя и строя пальцами какие-то фигуры. – Пишет редакция, немцы университетские. Еще бы не отказаться.

– Да, – подтвердил нехотя Алексей Павлович. – Вспоминаю эту историю. Будто бы сказал: «Отдайте эту премию Конструктору, если сможете. Потому что я – только робкий читатель его скрижалей. А он – Строитель. Так соорудить пирамиду природы – больше некому.

Слишком явный замысел. Задумка. И адски райский чертеж.

– Вот! – вскинулся Хрусталий, будто укушенный снизу. – И я бы отказался, изобрети такое.

– А вы тут при чем? – грубо обошелся с Ашипкиным обозреватель. Но сказал спокойнее. – Тогда это было не модно, преклонение колен и целование чаш. Тогда можно было напучать по нахмуренному в божественной истоме фейсу. Придумать бога – это вам не болт в космосе.

– Ничего не понимаешь, – весь затрясся, будто в резонансе, Хрусталий. – Не придумать. Открыть, как Дарвин способы шарахания жизни, и подтвердить уравнением. Дать надежду людям – есть высший голос. Не попов же этих с трехклассным общим развитием слушать. Есть голос – он над тобой и подскажет, если споткнешься. Выведет, если потеряешь память. Поплачет, если сгубишь себя. И часть вины возьмет, коли опростоволосишься или набедокуришь. Скажет: знаешь, не доглядел. А Вы глупость: мол, по блаженному лицу. И подставленным щекам. Вы рехнутый. Да пострадать за такое каждый помешанный сосчитал бы за... Дать себя распнуть заместо хулиганов да разбойных... Кайф.

– Ну уж и каждый, – не смутился, усмехаясь, журналист. – Хотя бы через одного. На первый-второй... Впрочем...

– Никаких первых, никаких вторых! Все люди в помешательстве перед Ним равны, хоть и разнятся в частностях отклонений. И смотрят вверх, на хрустальную пирамиду мира, предоставленную нам временно для проживаний.

– Вы назвали меня рехнутым...

– Сердечно простите, – попятился, успокаиваясь, Ашипкин. – Сердечно болен. Заговорился.

– Да нет, не возражаю, – спокойно оправдал визави газетчик. – Не переживайте. Есть много другого, ради чего смущаться. Помню, тогда я читал комментарии на триклятовскую работу и чувствовал себя несколько рехнутым. Кстати, давным-давно про него ничего не слышал. Где он сейчас, не знаю. Тогда, кажется, работал... в Институте физических целостных систем... или... Не помню. И, знаете, уважаемый... Хрусталий Марленович, как бы и себя, и Вас не обидеть, показалась мне тогда вся эта история... Будто бы автор – отнюдь не сумасшедший и не сдвинутый, не помешанный и не рехнутый, не свихнулся и почти нормален, а, как бы сказать, немного не в себе. И «немного не в нас».

Переводчик поглядел на журналиста, как будто тот был увеличительное стекло или линза, а за стеклом, вместо жужжащего в пельменной вентилятора и кислого тумана вдоль стен, стоял призрак в окружении белых столбов света. Сам Хрусталий открыл рот, но вдруг поперхнулся и молча сидел со сцепленными руками: какая вдруг неожиданная мысль посетила его. И мысль эту он озвучил для тупого журналиста:

– Их трое и они рядом, они трое – не в себе: Хрусталий, отказавшийся лауреат, накапавший, легкий гений, страшную вторую статью, и Третий – Он тоже, тоже не в Себе. Потому что третий всюду – вокруг, и в нас, и над нами. И во мне, – с ужасом добавил Ашипкин. – Тогда я тут при чем? Он и виноват.

А сосед Хрусталий всего лишь долгие эти двадцать лет упорно, оказывается, брел по дороге бреда «не в себе». Конечно, путь был тяжелый, но обстоятельства, мерси, помогли.

– Вот слушайте, что я тут понял, – крикнул весьма зычно сдвинутый, и пельменный хозяин покосился на него, как на фарш.

Созрел гнилой; налетит кипятком сквозняк: будет сорван, и упал – здравствуй, почва. Помогло вселение: через срок, года за три до миллениума оказался Хрусталий вне дома, вне женой квартиры и дочкиной любви, сам не понял как, в комнатке обрушающейся на снос пятиэтажки с дверкой-фанеркой. И зарегистрирован нигде. Очень помогло. Дочь и жена, отталкивая бестолкового переводчика, приволокли на двух брызжущих желтой слюной и матом грузчиках полку, чей-то холодильник «Свияга» с двойным пенсионным сроком, помершей тетки цветастую тахту и известное ему раскладное устройство, уздилище снов, как гарантию невозвращения Ашипкина в родное гнездовье и вообще в жизнь.

«Успокойся, угнездишься, полегчает, – крикнула жена, сгружая в засопевший холодильник минимальный продуктовый набор шаговой доступности. – А воздух-то здесь, – взвизгнула, толкая выпадающую раму. – Пива не надо». «Мимо туалета не ходи по привычке», – посоветовала дочка, дергая свободного хода веревку старинного спускового устройства. И обе ушли.

– Но Ашипкин – инженер, он помешивает идеи научных идиотов и извлекает дееспособное.

Ашипкин инженер, и все наладил. А перед этим постоял у выпадающей рамы и разглядел двор, где доминошники вправляли козлу рога и неизвестные новые соседи неспешно предьявляли друг другу аргументы досками и чем-то из баков.

– Обожаю, – завопил Ашипкин и, стремительно поднявшись, подскочил к шарашнувшемуся подавале. – Обожаю забивающих козлиц, – но успокоился и вернулся на место.

Завелся у Хрусталия и двухцветный телевизор от удачно переведенных австрийских СНИПов. И миллениум он встретил, стоя под европейские фейерверки с бокалом фальшиво шипящего шампанского в руке. Еще болел гриппом, бредил и в бреду узнал женские фигуры родственников, за которыми приперся смутный образ в белом и обследовал горящего холодным шнурком. «Пока жив», – недовольно сообщил призрак и сунул в рот горькие яды лекарств. После этого и стало удаваться иногда Ашипкину на волне возмущенных магнитуд ненадолго покидать свою гостеприимную фигуру, и, примостившись справа по ходу и чуть наверху, наблюдал он со странным чувством повадки этого шатуна. Еще вдобавок был сильно ударен старым хулиганом своего нового района в вечернюю, уставшую голову и обчищен, пропал последний гонорар, спрятанный по привычке сбоку в носок. Голова перестала болеть, но двоились теперь в двух глазах сторулевки, множа проблемы.

– Да, и хорошо теперь помню минуту рождения, – сообщил Ашипкин, суя в глаза обзревателя древние свои наручные часы «Слава». —

А больше ничего. И как метался с горячей башкой в ельцинскую весну, ища работу, по складам, аптекам, детдомам, пахнущим едой кооперативным подвалам и нищающим школам

– ничего не помню. После, вроде, упал в неглубокий котлован с сочащейся трубой и решил там остаться.

– Лежу и думаю, совсем что ль здесь мне место, среди глины и доброй цементной крошки. Смешаюсь и буду маленький без тени песок.

Теперь Он свидетель: свободно отлепляется и бродит сама тень. Хочет мороженого, приближаясь к женщине, настойчиво стучит в будку одетыми в солнце пальцами. Ну ясно: без результата – денег-то у тени нет. Ашипкин ей не дает много. Он и бегал за тенью, наступал ей одним тяжело отремонтированным ботинком на болезненные места, прищеплял дверью руку – никакого прока. Дважды пыталась покинуть его на трамвае, посылая воздушный привет.

– Как у вас с тенью? – крикнул Ашипкин, вскочил и подобрался к несшемуся подавале, теперь пытающемуся судорожно нащупать разделочный нож, тот выронил из тарели плоску варева и в ужасе уставился на буяна. – Дай еще две порции, – лунатиком пробормотал Хрусталий, отпустил грязный сальный воротник подавалы и вернулся к газетчику. – Все нерв проклятый. Лицевой, на три стороны. Как Янус. И другой – глубже. К сердцу бредет, – но опомнился и продолжил.

Еще: в отслужившем холодильнике образовались черные дыры – исчезают почти свежие продукты, особенно долями сыр, плавленый, обязательно принесенная и зашвыренная на полку иногда женой краковская колбаса, сам выпивается отрада сердца кефир, и заводятся в холодильнике незваные жильцы – электробритва, подаренный дочкой на круглый юбилей невозобновляемый мобильник, а также скелеты тараканов, вторые копии немецких переводов и неизвестно кем подброшенный листок с надписью «Прости».

– Прости, голышка... голубка говорит, и клювик аленький горит. Цветик в валенках... кашляет бронхит...

Хрусталий теперь знает: Ашипкин – не вполне больной человек.

А если уходишь за халтурой в бюро переводов в три, а вернулся в два, и если старый сосед лежит на пороге мертв, выставив на Хрусталия выпуклые желтые глаза, синие руки с полотенцем и шумовкой, а через минуту является, как по зову выскочивший из утробы черт, шамкая и хрустя шеей перед барабнящим в страшном поту по глухому к мольбам телефону соседом – это что? В разных районах встречается ему, мерзко щерясь и пересекая путь, один и тот же одичавший с отметиной на хвосте кот, дважды в пятницу ему попался прилипший на скамью рваный номер бульварной вашей газетенки с поросшей черным блондинкой внутри, а также из телевизора при переключении программ стабильно доносится пятидесятым кадром – «Ну, будь, Хрусталий!» В последний год он уже беспричинно переходит улицу и ускоряет шаг на другой мостовой, когда померещатся ему ненадежные и взвинченные голоса, закрывается от чужих глаз, будто читая в метро, перевернутой наизнанку прессой и, вообще, любит опускать, тренируясь, веки.

– Вот как помещиваются и смешиваются с нелюдьями и зверьями. И давайте все-таки расставим: в себе теперь я, Ашипкин, или вне, или мчусь в холодный низ, где пельмень Бездны сжирает начинку жизнь... Вверх, в горние дали. Кто это знает? Может быть, уравнитель формул и сеятель равенств и неравенств даст ответ. Или ответ только у Одного, Содержателя истин и Переводчика разума, не так ли? Где я, а где Он, – грозно возвестил Ашипкин. – И кто я, и Кто он?

– Что? – не понял обозреватель Алексей Павлович и уставился на так и застывшего с открытым ртом диковатого и не вполне больного посетителя. – Так что во второй статье, нынешней?

И Ашипкин очнулся от своего бессвязного рассказа, вылез и вылетел из догадки.

– Все наоборот, – жалко пробормотал он, глядя сквозь опять перечеркнувшего поле зрения соседа-рекламу. – Все. Редакция пишет: автор опровергает прошлое решение. Во

введенных им комплексных пространствах «о-малое» от «о-малое от тильды» оказывается не всегда пренебрежимо мало, а иногда, на переломах загаженных пространств и проклятых времен временами вырастает до страшного, поглощающего основные гигантские величины размера. Карлик сжевывает Гиганта. И автору, то есть Триклятову... и всем становится ясно. Главное в связи величин – случайный момент. Пошлое совпадение непланируемого. И дикая необъезженная природа каприза. И тогда управляется со зримым и потусторонним миром одно – ахинея. Никакого этого Бога или толкового Администратора. И в помине. Билиберда, намазанная толстым слоем на поверхности зримого.

– Так утверждает автор? – осторожно уточнил газетчик.

– Врет, небось, – в сердцах выкинул ходячий внутри реклам литератор Н., жуя губу. – Все вы врите простых людей морочить.

– Молчи, – осадил соседа Ашипкин. – Так утверждает ему наука.

– Наука вещь гибкая, – осторожно направил Алексей Павлович логику больного в конструктивное русло в тумане пельменной.

– Нет, – печально поник переводчик. – Наука – стальная и негнущаяся полоса из догадки в правду и не кивает в ледяном холоде подмаргивающим и склоняющим. Надо бы мне увидеться с ним... с этим... Триклятовым. Я бы только спросил – возможна ли в расчетах опять ошибка. Или надеяться не на что.

– Надеяться всегда есть на что, – вставился вдруг репликой литератор. – Особенно чего нет и не было.

Потом они сидели молча, и Алексей Павлович глядел на скукожившегося страсто-терпца, на оживающие изредка сполохи экрана рекламных огоньков в раме окна, на гаснущий там же город.

– Моя фамилия Сидоров, – сообщил он, морщась, через время. – Возьмите визитку. И напишите где-нибудь на огрызке Ваш телефон. Попробую узнать про этого Триклятова. Но обещать ничего... тут у нас в газете сейчас... Телефон-то есть у Вас, исправен?

– Есть, – эхом отозвался Хрусталий. – Черного эбонита. Только трубка треснулась. Скоро оплачу задолженность, и включают. Забываю ненужное. Вот «Сидоров» – уже забыл.

– Визитка, – напомнил журналист. – Диктуйте телефон.

– Мне бы тоже визиточку, – еле слышно и жалобно прошелестел Н.

– На память? – осведомился Ашипкин.

И скоро они с облегчением покинули грязную пельменную, соседствующую в переулочке с зычной газетой, и зашагали в разные стороны в раскрывшую ненасытную пасть ночь.

\* \* \*

Эдуард Моргатый был клевый мачо. Он знал это навсегда. Всего надо три. Сперва родиться из нужного места в нежной кондиции. Эдик так и сделал, громко вопя и скандаля остаток жизни, что вышел он боком и подавай ему за это... Ну, разное. При том при всем рожавшие отец и мать сразу признали в нем хорошенького и даже чудненького, а теперь он вымахал через двадцать семь проведенных со свистом годков в полного в красавца, худого и поджарого, как Марлен Брандот, нажравшего сил и круглых мышц почти с Арнольда, и с таким интересом... этим... с икстерьером, что боже упаси.

Моргатый поднял от куцей стопки личных дел этих оболдуев тяжелые красивые глаза, умевшие сжимать взглядом и непорядочных женщин, оглядел длинный стол напротив, где заседала их новая газетная камарилья и с удовольствием не удержался: мекнул и крякнул, как фазан на случке. Так, что вертлявая эта психопатка Лизка – простите, обознались, Елизавета Петровна! – даже метнула в него полный наглой пустоты бэк-взгляд. А что, мечи икру мин-

тая, дорогая, мы тебя знали не только голую, хоть ты и шустрая расфуфырка птица какаду под широким мужним крылом, беспрерывно гавкаешь и вертишь хвостом, крыса безгрудая. А что сюда попал мачо через твою проекцию-постель, так то шелуха, сами развернем скоро знамена.

И никто за заседающим столом – ни вторая,

а, может, первая? – «практикантка» эта Катька, простите обмишурился – Екатерина Петровна! – гадюка подколотная, точнее подмужняя, прикрытая каким-то могучим мужем со всех сторон, удавица амазонская и монашка-нараспашку, ни присланный присматривать за газетными девками прикинутый дундуком дядька-кадровик, скучный, как сидящая в углу жопа гиббона, ни Эдикин теперь шеф, и. о. – надо отчеркнуть! – Главного господин Череп, простите – все сидящие за длинным столом заседаний многочислены «аттестационной комиссии», выведшие всю газетенку за штат, да и мучительно потеющие перед шоблой инквизиторов выведенные, как этот очередной дрожащий листик из культурного отдела – никто из них и на подметки бы не пошел в базарный день такому крепкому красавцу, как он,

Эдик. Потому что людей меряют при «базаре», а не на ровной паперти.

– Какие творческие планы? – сухо спросил у этой в красном уголке ихней культуры дрожащей мыши с потеющей подмышкой наш могучий Череп, и человек стал тереть пиджаком пот, щекой плечо и глазами лизать череповы ладони, высиживая рабочую индугенцию.

– Разные, – тускло ответил тупой пытаемый.

– Уточните.

Раньше потеть надо было, захотел подсказать этому точное направление жизненной струи добрый Эдик. Теперь хоть напишайся под себя, не обойдешь лужу жизни.

Вот он, поглядел на себя мачо – родился у Моргатого, а тот – настоящий начальник, по каким-то, вспомнил Эдик, перепланированиям областных бюджетных сфер и перетеканиям и списываниям неликвидных фондов, из тех начальничков, к которым «Волга» ходила мягким ходом десятилетками, не оставляя завистникам ни следа шины, ни шанса хорошей мины. И мать у Моргатого, верная курица-жена перепланировщика, всю свою затюханную житуху проплелась, что стелила скатерть-самобранку, красавица певица без уха и слуха на домашних концертах да на министерских посиделках-обмывалках.

Из нужных родителей и выполз грязный, сразу обмытый теплым Эдик. А ты, культуртрегерская блоха, скачи отсюда мучиться дальше на бескрайних равнинах и теснинах наших неудобниц, не светит тебе никаких синиц, как Эдьке светит в компенсацию некоторых особых для больших людей услуг, как господину мачо Эдуарду разрешат накалякать и продать, отмыв для всех-всех от всех-всех налоговых псов, кучку радостных дензнаков, чудненький сценарий сериалки «Мужчины не платят» – что наобещал верному маленькому Эдьке и даже велел подписать Договор с готовым факсимиле великого ТОТа тупой, как топор папуаса, благоверный соглядатай ТОТа кадровик. Самому Эдьке можно и не мараться этой псиной-писаниной. Есть телефончик одного грамошного недородка, нищего литератора Н., как гордо он себя по-научному кличет, в миру какого-то Будяшкина или Букашкина, худючего недоноска, ничего не перящего в этой крупной, полной греческого пафоса, житухе – его подрядить на работенку. За сотнягу зелени... или за полста... намарает все. В лучшем виде. В трех позициях, анфас, профиль и вид снизу.

И тогда видал умный парень на все руки Моргатый иногда благоверных жен всех этих крупняков. А он и видал, не только при параде. Да кто их не видал. Отвечаем: разве ангел какой шестикрылый, обоссавшийся от долгих пребываний на коленках. Или ленивый между ног.

– С этим все ясно, – взвизгнула «практикантка» Лизка. – Идите, сообщим.

– Эдуард, давай следующее дело, – скомандовал ломающий Главного и правда зверь Череп и протянул руку.

Откусить бы тебе ее, по шю, мельком подумал Эдик, пробуя белый ровный часток кол зубов на еще не подводившую прочность, но поднялся, и сбегал, и отнес к столу шефа дельце очередного газетного сверчка. Но сам подумал: «Поглядим, покумекаем, что скажу, когда вызовут наконец к коври великого ТОТа, метать чужую икру. Ведь позовут же когда-нибудь. Потому что мачо везде нужны».

Дальше, считаем считалку, на второе блюдо, чтобы создаться гордым мачо – что надо? На все насрать в прямом и перегонном смысле. На школу-душилку – и Эдик с лаской упомянул, как вгонял в пот бегающих и краснеющих за него – «бездаря и тухлого ленивого ублюдка», по-папкиному, – кривоногих училок, ломающих на бегу слабые каблуки дешевых, иногда дырявых туфель. А он глядел на свои чищенные домработой штилеты и силился увидеть в них отблеск своей правильной улыбки.

Или насрать на позорную ходьбу в педагогический вузик непонятного назначения профиля, куда Моргатый-старший, упертый старыми устоями дундук, притащил его за шкурку и скинул в родителями выбранную группку таких же олухов, обкуриванную щедро оплаченным, кисло улыбающимся толстой, как жопа, рожей проректором. В вузе Моргатый запомнил кучу одинаково гладких телок, одетых в разное, а потом в одно, запомнить имешки которых было тяжелее, чем кликухи барных коктейлей, а также главную педагогическую мудрость мачо – не учишь, а учи других, по-своему, мачо.

А также долго насрать, поводя струей для тонкой смывки, на все остальное: визжащую у ног, залетевшую и позеленевшую перед тайным абортom очередную подружку-несушку, на пропевшую всю жизнь веселенькие страстные романсы, поющую нотации под зрелые годы мать, на самый на конец выпертого из чиновной кормушки сытенького папеньку-пенсионерщика, кичащегося старыми связями и «чистотой помыслов нашей боевой юности». Иди, сказал ему как-то Эдик, когда Моргатый-старший опять влез учить, орать про пофигизм и похеризм, а Эдик – временно скатываться – иди к своим связям и сделай нам своим двоим хорошо, а то чего ты стоишь-то, как пятак перед пенсионной кассой. Видали б вы, как глянул на законного отпрыска незаконно чавкающий с государственного корыта всю жизнь-житуху старый чиняра.

– Ваши творческие планы? – заученно выспросила комиссия, кажется, голосом дядьки-смотрящего, тусклого этого отставника с оловянными глазами и деревянным дубовым задом.

– Планов у нашего отдела громадье, – визгливо-испуганно, радужно улыбаясь под укусами пираций-комиссионщиков, пролепетала очередная писчая жертва. – Все пишут и пишут, шлют и шлют...

Эту так называемую девушку с ляжками Фиру мачо уже углядел, шатаясь руководящей походкой по новому поднадзорному органу. Девка, увидев полного липкой силы и точно начальника, сразу все смекнула – тридцать лет, пятое цветение, все сечет влет. Заулыбалась ушами, грудью и бедрами, заводила пухлыми ножками под позорного края короткой юбкой. Смекнула, кто тепер в газете подкидной король. Что надо, он не забывает, мачо.

– Кто пишет, что? – сухо выдавил конкретный новый у них всех Главный редактор Череп.

– Конкретно в газету? – стушеввалась Фирка. – Все пишут про все свое старое... и привычное.

– Все будем менять... и название, – противно дую губы, взвилась Лизка, ни разу в своей божемной томной житухе вихляний ничего не менявшая. Видно, заскучала. – Предлагаю название «Время новых известий» или «Желтая лихорадка новостей».

– Елизавета Петровна, – укорил и. о. Главного Череп непутевую взбалмашную белокурую дуру-«практикантку», – это в рабочем можем порядке? Еще не решено.

– Не затыкайте мне словоотвод. С такими порядками околеешь ждать. Я вам тут не девочка, выслушивать. Попрактикуюсь месяцок, и баста. Решим тут... без шпаргалок. Нашли загадку души – газету кроить.

Это уж проверено, насчет девочки, заметил про себя Моргатый, все подтвердим на страшном суде рукостава. Когда вызовут, как действительного сочлена, а не подвывалу.

– Конкретно, девушка, – потребовала Лизка у допрашиваемой. – Темы писем, вздохов и слез пишущих девчонок, мотивы самоубийств, опишь типов ухажеров. Чтобы сделать из этого конфетку-колокольчик для беспробудного увершения тиража. Давай, излагай, что делаешь для...

– Все будет, Лизавета Петровна, – пообещал кадровик. – Будет газетка-конкретка.

– Все сбудется после чрезвычайных усилий, – добавил, вяло улыбнувшись, выскочивший, как все дубы думают, «на талантах», Череп.

Конечно, не попрешь, Череп по тиражам мастер. Его посадили тут командовать сверху, как звезду сверху дыркой на елку, а заодно баловать бездельничающих бабенок с полными багажниками бабок – почему? Могли и Моргатого Эдика рогами наставить на верхушку газеты. Но пока не времечко. Пока нужен страшный Череп, мастер тиражей и желтой журнальной славы – три офсетных глянцевого трупа оживил, вывел в денежную публику и раскрасил такими картинками и болонками, что прочитай американский скаут или еще какой косой мармон или бледная на бесчленье институтка такое – повесится на презервативе перед Белым домом. Нет, что ни говори, а пока Череп – бык-производитель желтого тиража, глянцевого попсухи и скользкой видухи. Тут пока погодить кусаться, притормозим на своем на кабриолете. А там видно будет, кому главного квакать. И тут вспомнил вдруг Эдика про лягу, которую никогда не забывал. И вспотел. Вспомнил третье – от чего появляются мачо.

А вышло, или вошло, так. Ведь, по правде, что третье главное, из чего сделан настоящий мачо. Это главное – всегда стоящее колом желание давить уклеек, если они высунули пасть из пруда. Давить смачно и сапогом, брызгая соплями, глазками, жабрами и слизью. Давить дохлых мозгляков, вечно тыкающих залитыми чернилами хилыми пальцами настоящим людям в их яркую серость и опытную необученность, душить и поливать мачей жидкостью мачо.

Ведь когда Эдик стал им, в четыре с хвостиком годика. Он стоял тогда, помнит, в песочнице с лопатой и со страхом глядел на залезшую лягушку. Жуткая и громадная ляга глядела на мачо дикими вздущимися глазами и хотела утянуть его в пруд. Временами она то и дело орала на него громче, чем он визжал дома, когда хотел или не хотел все подряд. Эдик очень испугался и, наверное от ужаса, брызнул или накапал немного в красивые любимые джинсовые штанишки. Ляга захохотала, и он ударил ее лопатой раз и два, чтобы не издохнуть со страха. Жабина прыгнула и почти приземлилась на землистое лицо младенца, чуть промазала. Маленький мачо упал на попу. А то бы лизнула жгучей слизью его красивые глазки, которые молча, напевая «о-о-о!», чмокала на ночь мать. И Эдик, холодно вспотев, как в мыльнице мыло, стал прыгать, орать и лупить лягу лопаткой, пока не загнал в угол. Шустрая попрыгунья получила свое, еле отдувалась и вяло дергала лапками, иногда выставляя вперед зверскую страшную морду, будто напоследок хотела прокусить или вовсе сожрать. И почти победитель начал в остервенении тыкать в зверя палкой. Но тогда пятнистое чудище издало невозможный хрип и опять прыгнуло. Еле живая, мгновенно сообразил малыш-мачо, но еще страшная, потому что придет ночью во сне и отгрызет лопатку. И мачо зарыдал в голос и стал отбиваться от подбежавшей и схватившей его в охапку болтливой домработницы-няни. «Ты зачем бил лягушку?» – спросила, вытирая бойцу соплю, работница. «Укусила», – только и сумел соврать хлопец. А когда вечером няня мыла его в ванночке, нежно шелестя губкой по коже, ткнула в тогда уже хорошую письку и спросила: «Куда ляга тебя цапнула, сюда?», хлопец дико отчего-то зашелся визгом, а потом в ожесточении сообщил старой шутнице:

«Сам знаю куда. Вырасту, – крикнул он, с ненавистью глядя на няню, – возьму лопату и буду тебя лупить... лупить, бить, пока не пришибу!» Няня отпрянула от злобного малыша, и прочитался в ее глазах дикий, подневольный, рабский ужас. И понял малыш, что он – мачо.

Так что поглядим, подумал Эдик, кому еще квакать. А дура Фирка совсем заблелая:

– Пишут в основном пенсионеры, – дрожа синими губами и чулками, проворковала пухлая, крепкая Фирка. – Про ЖЭК... ДЭЗ и крыс на крышах.

– На крышах?! – брезгливо ужаснулась щеголиха-хамка, едрена практикантка, гнида и ненавистница мачо Екатерина, тоже жена того еще жениха. Но не белокурая бестия, как огненная лиса Лизка, а с волосами черной страшной вороны и черной злобной гримасой начинающей ведьмы на всегда тонких губах. Такая смотрит на нормально лютых, как Эдик, мужиков так, что хочется подобраться, броситься стаей шакалов и раздеть... и вздуть по голой... пояснице дюжиной острых солдатских ремней с фигурными пряжками. Монашка гребаная. Ладно, пока у Эдьки руки коротки, ладно.

– Да! Да... Пенсионеры пишут, Виагра никуда не годится, дети-школьницы пишут о последней любви, спрашивают – куда кидаться...

– Вот это интересно, газетно, печатабельно... – заметил, выказывая профессионализм, Моргатый.

– ...и инопланетяне иногда шлют стихи о ягодном месте в тундрах, – зашла в нервном исступлении сотрудница отдела писем, шебурша под стулом крупными ступнями в белых, надетых, как на свадьбу, туфлях. – Рабочий-моторист советует, что конкретно делать с не знающей техминимум женой, предлагает ее редакции в обмен... на девушку из ПТУ... а те, как раз, о поведении физкультурника на коне и мате. Военный отставник просил на прошлой неделе прислать чертеж импортного огнемета, все пишут, кому не лень. А ждем и сумками таскаем... письма эти, любим... работать.

Эту дуру Фиру наблюдательный мачо Моргатый уже заметил еще вот почему. По двум делам. По одной: много в редакции знает, во всякую щель у нее сунут нос или глаз. Черный и занозистый, как у цыгана. Полезно, как сказал бы верный дзержинец Эдмундыч. Второе: оказалось, как шепнули нарочно ее же отдела клуни, – эта Фира пыталась крутить пашню с тем самым гаденьким гусем-выпендряйкой Сидоровым, с которым вчера у Моргатого уже случилась забава-случка.

Эдька чуть к утру приперся в комнатенку отдела наук и образований, где маленький старичок-грибок заведующий, потупя глазки и зная, видно, о выходе в тираж, по-тайному складывал шмотки из стола в старый, как у древних врачей, чемоданчик, готовился кинуть сонную обитель. Всех вас, старых лишаев, палкой, подумал Мачо, но вслух спросил:

– Ну что, как оно с утра спалось? Чего рано пришлепали?

– Спасибо, все в норме, – мекнул старикоид.

А мачо схватился за какой-то стол и стал оттаскивать его от окна, хотел освободить место для одной девки из ансамбля, которую тянул в газету, и просто тянул, в культурный отдел. Старичок искоса поглядел:

– Здесь сидит научный обозреватель Сидоров Алексей Павлович.

– Сидел, – отбрил сующегося мачо. – Теперь все путем. Штат за штатом. Пооборзевались, газетные овцы, пришлепали журнальные волки, – и ткнул стол еще дальше в темный угол. – Занято, – указал на место.

– Вы бы сначала, – мяукнул старичок, но вовремя смолкнул.

– Ты что делаешь! – неожиданно появился в дверях этот Сидоров, недопарень почти среднего низшего роста с руками толщиной с манипуляторы Эдькиного детского конструктора «Лего», который он использовал, пробуя засорить унитаза. – А ну подай назад.

И обозреватель схватился за свой столик грабками и попер на прежнюю позицию, на Эдьку. А прежние позиции стухли. Ну тут уж забава! Давить цыплят, сшибать слабо жуж-

жащих зеленых мух и отрывать горлы отбившимся от стада олешкам – настоящее занятие матерого мачо и гордого койота прерий. И жалкий, раскрасневшийся и приведенный в подходящий сок Сидоров оказался вдвинут почти в стену.

– Ну ты чего? – миролюбиво справился победитель над трупиком поверженного праведного правдолюбца. – По соскам у тебя еще не текло и в рот не заходило.

Сидоров подскочил было к мачо, запыхавший и раздутый от газов, но, глянув снизу вверх на героя, только плюнул, попав себе на рукав куртjюшки, и вышел вон. Видно, хорошо везде учился, и в среднем образовании, и в университетах, но по жизни необученный, нестроевой. Ну, поучим!

И тут, на собеседовании, на выдаче клистиров и роковых диагнозов, Эдик вдруг выскочил из себя, не держа зла, а швыряя его кругом, покраснев закаленным лицом до сиреневого отлива, и потребовал у сидящей на крае стула подневольной Фирки, трясушей от озноба, поди, волосатыми ляжками:

– Хотите работать по-застарелому? По-стерильному. А тогда скажите-ка, к кому в коллективе имеете особую... привилегию симпатий. Так сказать, в разрезе добрых чувств. В разрезе будущей службы. Способная ты на правду? Кто годен, а кого, товось, как уклеюку?

– Это еще зачем? – удивленно вскинулся слишком для простого умный Череп. – Что это Вы, Моргатый, вдруг. И. о. ответсекретаря газеты – не кадровик.

– Чего этот «Вышинский» тут лезет? – зло подчеркнула ведьма Катька. – Здесь не трибунал.

– А что – интересно, чего от нее ждать, – живо вскинулась авантюрная затычка Лизка. – Я хоть проснусь.

– Пускай, – глухо из угла прожевал зам по кадрам, бинокль, поставленный ТОТом наблюдатель, старый бздун, неизвестно чего отставник. – Отвечайте. Кто в газете всех смелее, кто рукастей и бодрее. Кто годный. И на что... И тд.

Все примолкли. Фирка поежилась, дико озираясь, прошептала:

– Не поминаю... не понимаю...

– Понимайте, – повторил отставник. – Работа нужна?

– Ну... – протянула допрашиваемая, чувствуя, что требуют откровений, побледнела и зашла по лицу цветными африканскими пятнами, укусами mosкитов, слабо пудренная кожа не выдержала напора крови. – Ну... мы тут все ждали. Новые руководители... владельцы... очень надеялись. Думали, фирма «Е & Е» – это Эрнст и Янг, крупные мировые юристы. Девчонки по полдня шушукались, гадали. Это нам привалило через столько лет... счастье сотрудничать, под ними... Очень дружные мы... все... дружим. В свободное от... Но очень хотим в будущее печатной индустрии.

– Конкретно, – крикнул бздун.

– Отношусь... с приязнью... относилась... с обожанием к профессиональной. Оказали большое газетное влияние... Очень сильные кадры в хронике. В спорте – Додунский, Модунов... Сидоров Алексей Павлович... влили в мою работу новую кровь, предельно собранный специалист... Другие... Отдел города, Зябченко, любит... лишнего... кушать. Чуть говорлив. Всех люблю... любила, – глупо улыбнулась

Фирка. – Но иногда и они... Бывают обиды, всякое. Например, если честно...

– Ну! – подогнул кадровик.

– Не любила бывшего нашего главреда, это уж кого... Знаете, невозможно. Педант. Все отмечает, скрупулезно распорядок. Приди-уйди... Ну что это? А с письмами иногда носишься. Проверяешь сигнал...

– Так он выгнать хотел? – резко вставил испытуемой Эдик.

– А что, – прогундосил кадровик. – Сидоров за Вас просил бывшего?

– Да, – тихо созналась Фирка. Прикрыла лицо руками, потом отняла ладони, щеки ее пылали давно убранной свеклой.

– Работать будем по-новому, – резко выкинул Череп. – Отдел писем курирует пока и. о. ответсекретаря. Письма в старом смысле аннулируются. Газета проветривается. Каждое письмо чтобы готовое с нужным набором фоток аппликацией могло быть вброшено на страницу. Газета перевертывается. От пионеров и старух к людям. К умеющим читать рекламу, к активному поколению. Готовы работать в новой струе?

– Готова. Как скажете, – пролепетала Фирка. – Уже готова. У меня семья.

– Провальный ответ, – выдавил кадровик. – Но правильный. Наверное, можем пока пожелать успехов? Идите. Решим.

И тут же мачо вновь выделил слизь победителя – прижали этой болтливой жабе икру, бывшей этого выставялы Сидорова. Еще взялся мерещиться на пути мачо, старый драндулет.

Их теперь на эту пока газетенку брошена пожарная бригада крупных людей. Хоть и куплена, судя по шепоту, для побаловаться-поиграться в бизнес двум вумен, опостылевшим, поди, своим мужичкам. А нам что, подумал Моргатый, нам стриги свое с пушистых тварей. И тут вдруг кто-то, вроде этого слизняка Сидорова, под ногами квакает.

Эдик чуть встрепенулся победным петухом, поднял чуть воспаленные видением глаза и с удивлением воззрился на входящего в комиссию и шлепающего к креслу возле длинного стола этого самого оборзевателя, нахохленного пощипанным петушком, и с сухими, мутноватыми глазами. Моргатый чинно встал и, взяв пухлую папочку, как положено прошествовал к столу и аккуратно положил рядом с Черепом.

– Алексей Павлович, – нежным, что не предвещало ничего теплого, сладким ангельским голосом прожурчала Елизавета Петровна. – Вот вы, известный, как нам тут лепят жмурки, специалист отдела науки. И образования, и что? Вот ваши последние статьи, дайте анонс: «Компьютеры в сельские школы – после профилактики пьянства». Кто это будет разглядывать? «Кружками авиамоделизма – по колодцам безпризорных». Вы что, издеваетесь над нами?

– А вы кто? – нагло совершая тактическую плюху, выдавил опрашиваемый. Лизка потеряла чуждый ей дар речи.

– Это, – впервые улыбнулся, как лыбятся костяшки с черного пиратского флага, Череп. – Это наши новые сотрудницы-спонсоры, «практикантки» пока, можно сказать, ненадолго. Выбирают себе отдел по плечу. Поупражняться. Кстати, преданнейшие друзья... слова, с дошкольной скамьи. Вам бы так любить прессу, – ощерился.

Надзорный орган открыл папку дела. Замкомкадр сидел истуканом с лицом каменной бабы, Катька с презрением разглядывала вновь прибывшего перед «тройкой». Или семеркой тузов.

– Это прочитают все, кому небезразлично наше умирающее село, бегущая оттуда поросль, и те, кто любят проводить свободные часы перед компьютером. Образованные. Они тоже читатели нашей газеты.

– Вашей? Три чиновника Минобра, два Минкульты и один инсультник из Минздрава, – резко выставила Екатерина.

– Чушь! – вдруг резко подал наглый микроб под микробоскопом крупняка. А в общем, уже приговоренный. И безработный скоро дундук. Так, что даже Катька вздрогнула, чего не довелось пока окулярить мачо. – Если мы откажем газете в миссии спасти людей от оглушения масскультом, запремся в клетку тиражной гонки – кто будет нас читать через пять лет. Все разучатся складывать буквы.

– Ой как скучно, ой нудно, – словно от зубной боли, скривилась Лизка.

– Ну вы, потише! – резко высказался опрашиваемому обязанный держать совещание Череп. – Без нравоучений. А это: «Групповуха и кумовство – сладкая отравка научных синклитов». Это – не чушь?!

– Бодренько сказануто, – сладко потянулась Лизуха от групповухи. – Нужны нам такие баламутные кадры? Может послать их... к Макарьим телятам.

– Давайте не спешить срамиться, – вдруг вперся отставник-кадровик, выставляясь всевидящим оком. – Поясните, – предложил он испытываемому самоубийце.

– Разве не знаете, десятый год в Академии реформы. Старшим кадрам удобно сохранять круговые мирки псевдонаучной поруки, когда вокруг босса, может и бывшего ученого, сплетается теплый клубок из подхалимов и бездарных копировщиков, готовых за «обсосать икру с упавшего не так бутерброда» метать перед шефом бисер хоть до второго пришествия. До чего уже, впрочем, недолго.

– А умный дяденька из газетки придет к академикам и все им покажет, как и куда совать науку. Не учите нас тут! – гневно выкрикнула обычно ироничная кукла-тусовщица Екатерина. – Нашелся тут, не запылится... На пыльных тропинках...

– Почему не учить? – глупо улыбаясь, выпалил, по незнанию челюстей этого вампирозавра, опасной кукле наглец. – Вы кто тут? Вы начальники, а я подчиненный. Учить – это чужая епархия. Учите меня, я готов. Буду слушать день и ночь, впитывая ваши советы, готов переваривать до изжоги разумные поучения, трясясь в трамваях и грузовых попутках, и на пути в командировки и, наверное, обратно. Учите...

– Наглый, мне такие нравятся, училки. Еще с подлой школы, – весело крикнула Елизавета. – Хам. Это по-нашему. Ну, кажется, все ясно. Прощайте, друзья, однополчане...

– Елизавета Петровна, прошу вас, – вставил «практикантке» нанятый пока кризисный менеджер Череп. – Останемся в рамках соболезнования... сопереживания.

– Я поучу, – голосом сорвавшейся с нарезки фурии заявила Екатерина Петровна. – Тираж за пять лет гикнулся в тринадцать раз. Старая заслуженная газета, за один «бренд» которой плачено N. лимонов, в долгах, как тухлая кокотка в рваных шелковых чулках. Чьи деньги вы жрете, Сидоров? Ежемесячные дотации владельцев – шесть нулей. Вам не стыдно, Сидоров, обедать, завтракать и, наверное, ужинать? Ведь ужинаете? И не краснеете, – со странной гримасой улыбки процедила Катька.

– Отвечайте, – сухо выдавил отставник.

– Отвечаю, – спокойно, как покойник, сознался опрашиваемый. – Красною. Ужинаю не всегда, чаще до двадцати двух сижу в газете или мотаюсь по клоповым перефирийным гостиницам. Красною, что потеряли розницу и подписку, что любимая газета на мели. Бледнею, что толпы наших читателей потерялись в вихре социального слома: учителя на цену газет смотрят косо, инженеры разбежались в проводники и продавцы мороженого и вынуждены читать только товарные накладные, а кандидаты и аспиранты уехали побираться за бугор, чтобы каждый день ужинать и завтракать по-европейски – пончиком с кофе. Красною: одна газета идет на три больших размером села, две – на библиотеки областного центра. Бледнею и писать прилично уже не могу.

– Так пиши плохо... чтобы весело, – зашлась Лизка, любящая копеечные парадоксы. – Тебя читать будут глазками. Или ручками. Пиши тете своей у Тамбоу, племяшке в Мелитополь. – Лизка скривилась, будто не смогла пописать.

– А мальчик на белом коне! – вдруг невпопад крикнула она и поглядела на вокруг собравшихся мучнисто-лунным взглядом, в котором читалась кладбищенская мука.

– Что еще за мальчик? – по инерции проснулся обозреватель. – Из какой школы?

– Такой мальчик. Как все, – злобно вставил мачо. – Простой.

– Такой! – возвестила волнующаяся нимфетка и вскочила. – Прозрачный мальчик на бледном лошаке. По пятницам из леса выходит на обочину шоссе под Пензой и всем грозит

ржанием. Не ваш мутант-олимпиадник. А женщина из русских селений Подольска входит в свободном трансе в зеркало и обратно, а там ловко забеременела от потусторонца и носила весь срок без живота. А другие не могут! – гневно крикнула она, имея скорее себя. Или Сидорова, потому что указывала на него острым маникюром.

– Ничего не могут, мозгляки, – нервно поддержал упархивающую золотую кефаль Моргатый. – Ни родить, ни уделать. Только фарш дают... Фарс.

– А мальчик-колдун, ссохшийся до мыши, – уже злобным шепотом выдавила Лизель, шпаря обозревателя кипящими глазами. – И бормочущий сутры на древних языках, хотя на ваши гребаные олимпиады – ни ногой. Поющие псалмы крабы в универмаге одного прогоревшего торговца, трое пришельцев – оставили только черные усы – вот такие усищи, в кровати одной стареющей и брошенной всеми вдовы без средств – это что?! Дверцы для пешего перехода в альфа-козлорога, курс молодого бойца с нечистью от академика Мордашева – ты что, с того света не включился?

– Этот крючок тот, – обрадовался попинать Эдик. – Все простых людей цепляют, учи- учи.

– Да он просто... завуч какой-то, – прошипела Лизка, приглашая присутствующих полюбоваться реликтом Сидоровым. – Над нами хамит. Где? – крикнула она, и Сидоров судорожно оглянулся. – Где ты повидал теперь своих институток из благородных борделей, – «хороший слог», автоматически отметил обозреватель, нервно зевая. – Где эти знайки слесарных дел, умножители таблиц и изучатели излучателей? Копатели тараканов в засохших книгах и инженеры самораскладушек в общежитиях ПТУ. Мыто знаем! Все они – повымерли, как бесплодные матрешки. Теперь наномир макролюдей, – выкинула девица явно стибренный лозунг. – Теперь, чтобы заставить прочесть – предъяви дохлого медведя, жрущего радиоактивного лосося, дай картинку лобзаний с марсианским бомжом, или как наш бомж, миллионщик с чемоданом в клоаке, ищет подругу на рублевском рауте. В крайнем деле – дай свою институтку, зажавшуюся падежей, как она открывает новое в многочлене знакомств.

«Вот чешет», – искренне восхитился Эдька, мысленно поправляя ковбойскую шляпу на своем мысленном затылке на своем мысленном ранчо в дальней Айове. А вслух сообщил: «Они все упыри. Людей не знают назубок. Тянут скуку. Типа народ сгубить».

– Они тараканы! – завопила Лизель, не разбирая лиц и обводя всех взглядом. – Хотят всех выстроить в очередь за молитвой и выдать номерок на чадру. Кругом кипит загробная жизнь, мертвецы приглашают на ламбаду, гоминиды хвалятся черепами, а Сеня... младенец Сеня из хутора...

– На Диканьке, – подсказал Сидоров.

– Елизавета Петровна, – попытался остановить перевозбужденную Череп.

– ...да откуда надо, из-под обители огромных любовью гномов, Сенечка уже ищет подружку. С сиреневой кожей. Ты что, не ходишь на наш канал?

– На какой канал? – ослышался сбитый обозреватель.

– Ну вообще. Ну, говорю, издевается. По нашему, не этим всем ТНПНТВРТРПКДТВ, по всем этим недомеркам, а по нашему тотальному ТОТТВ телевизору, куда все спешат, что – не щелкаешь? Наше... с Катькой... любимое. – При этом чернявая Екатерина странно вздрогнула, обнажив в улыбке стройный ряд клыков.

– Этот канал не щелкаю, – признался проверяемый. – Однажды включил, чуть не...

– Мне кажется, все в понятии, – с ясной ему логикой встрял мачо. – Чужак. Вражина. Одед хитрую лучину своей прессы. Нас не смотрит. Под рожей всезнайки.

– Да помолчи ты, – осадил Эдика Череп, упрямо куда-то гнуший. «Может и загнет, или загнетса», – помечтал мачо, облизнув с губ съеденную только помадку.

– Это тараканы, – в тихом животном восторге определила Лизель, разлохмачивая в ажитации прическу.

– Клопы, – вставил, не удержавшись, Эдик. – Сосучие. Как бабы.

– Эти бегают бельмами перед глазами народных масс и орут скучными голосами: знаний, усидчивостей, обучаем профессии, показываем фокусы, как обсуждать-заседать... Это прозаседавшиеся в администрациях... – «мужика своего, оловянно-деревянного помянула», догадался мачо, – импотенты науки, инпичменты головомоек – вы обрыдли, оборзели всякому люду. Кончились ваши институтки, тараканы! – крикнула Лизка, махнув кольцом в три карата. – Разгоним ваши адмистрации и учредим, как матросы, одну – администрацию страсти и любви и общего исхода через дверку в космос. И крепкие боги обнимут нас кругом!

«Вроде и жму ее крепко. Чего ерепенится?» – удивился мачо.

И тут Лизель разрыдалась, вскочила и, опрокинув мягкое кресло, выпрыгнула из зала вон. Воцарилась временная тишина. Осенняя цепкая муха села мачу на конец. Он сбросил ее носом, стараясь не мельтешить.

– Должен уверить, – вдруг высказался тоном веселого покойника Сидоров. – По своему небольшому опыту утверждаю: с таким слогом из Елизаветы Петровны получится прекрасный журналист. Отдела необычного и чрезвычайного. Кроме шуток... – и растерянно смолк.

– Зачем же Вы, Алексей Павлович, так обидели уважаемую Елизавету Петровну, – мягко укорил журналиста Череп.

– Не думал, – как затравленный тушкан, огляделся обозреватель.

– А он, видите ли, чистоплюй, – с горькой иронией заметила Екатерина Петровна. – Чистоплюи не замечают, когда обижают скромных девушек своими вывертами. И не хочет рученьки марасть об социальное чтиво. Он, видимо, согласен крапать только для ангелов и архистратигов. Или для упертых магогов с французской дворянской гордой приставкой «де-».

– Хочу писать для всех, – попятился обозреватель, – в меру их понимания. Но только не сыпать сладкий порошок мистической ахины и не лить желтую мочу гламурной желчи.

– Значит, вы циник, аскет, педант, схоласт, шлепаете нудные нравоучительные статейки и из любимых лиц более всего обожаете прижимать к себе томик Дарвина, с личной вам дарственной старинным шрифтом. С пожеланием научных снов, где цветные колибри своими тертыми эволюцией клювиками теребят застоявшихся, подсохших к утру аскетов. Эстетов.

«Вот дрянь, выдает», – восхитился мачо, но не встрял, сказанув в щель сквозь зубы: «Сама ты, гребаная колибра, гюрза, но пока за тобой этот муж, мы к тебе ни ногой, ни струей настоящего опоссума».

– Нет, люблю прижимать сразу трех томиков – Ньютона и Дарвина с Менделеевым, – признался, криво усмехаясь, мелкий шкодник

Сидоров. – На мало знакомых мне языках. Троицу, так сказать, сразу. И нам всем, и Вам тоже бы, симпатичнейшая... Екатерина Петровна? – можно бы в рядок не полениться встать на коленки перед гением... даже не самого Дарвина... а его колибри, хотя бы. Пестренькими, как мы, и клюющими своими тупыми клювами все подряд. И охлопывающими своими глупыми глазками всех подруг науки. Без разбору.

Екатерина Петровна поднялась и встала перед Сидоровым. Вскочил и тот.

– Может быть, мне и перед тобой, мозгляк, на колени встать? – прерывисто, шепотом спросила.

– Ни в коем... Нет, – опроверг тот. – Лучше я... на колени. Вы так – заурядная дама, а когда гневаетесь – слишком красивая.

Катька покрыла щеки бледными пятнами, окружившими полные злобных слезок глазки, и рухнула в кресло.

– Ты, наверное, Сидоров, еще и пантеист и по ночам молишься не научным журналам, а страшным ромам запретных ведьм?! – с тихим бешенством, преходя на ты, выпросила «черная вдова».

Но стремительно теряющий трудовое лицо, натерший на нем мозоли мозгльак промолчал, лишь отворотил свой подбородок к окну.

Тут явилась, как ни в чем ни бывало, припудрив, наверное, носик кокаином, Лизка, уселась, весело улыбнулась и уставилась на обозревателя.

– Этот еще здесь? Ведь уже пролетели.

– Заканчиваем отчисление, – сморозил заведенный на сегодня мачо. – По этому кадру делать пометочку?

– Не лезь, – зыкнул Череп. – Писать кто, ты будешь, перо золотой рыбки? А вообще, Вам работа нужна? – резко выкинул он, косясь на обозревателя.

– Да, – вяло квакнул придушенной ляггой специалист по научной мути. Видно, в картинках комиксов гражданина Дарвина представивший свой пустой клюв.

Череп вскочил, и веревки синих вен обвязали его башку.

– Старая работенка кончилась, – гаркнул он, и звякнул строй фужеров. – Отдала свой короткий конец на чужой берег. Пионерки, дети пионеров, авиамоделлисты-мечтатели, кружки юного кролиководы, карельские слевки с покачиваниями, тушения незагашенных тундр и шепот тайги – все сдохло. Правила перехода пенсионерами остатка жизни, семейные увлечения бронзовыми свадьбами, научная галиматья для слабовидящих, спортобзоры олимпиад уродов, урожайность посадок далекого безвредного мака и список чтения юного дарвиниста – все накрылось жестяным барабаном. И последний разик звякнуло в корыте этого издания. Будут только те материалы, высунув глаза на которые один читатель притащит четырех еще, а те притянут любовниц и всех прошлых жен. Мне все равно, кто эти будут на газетных листах – тухлые эльфы с дипломами педиатров, космолетчики, переспавшие в тени «апполонов» с взводом инопланетян, генсеки, откусившие во сне грудь секретарше. Или черт, встретивший на ночной дороге чертовку-монашку и зачавший от нее. Плевать я хотел на... на черта. Дайте тираж. А время, тупой судья-взяточник, рассудит.

И Череп вновь, после короткой тирады, плюхнулся в кресло.

– Кстати, – сообщил он уже совершенно другим, крадущимся тоном голодного кота. – Что это за тема у Вас в разработке, Алексей Павлович? Этот какой-то ученый, статья на немецких языках, болты в космической тусклой пыли?

– Да ничего такого... стоящего, – проямлил Сидоров, уставясь мимо Черепа на окно через подвернувшийся фон жгучей брюнетки Катрин.

– Вы это бросьте, на сторону сливать, – брезгливо дернул Череп. – Вохр на входе доложил. Так, тема в разработке, помечаю в кондуите. Через неделю первый материал на стол. Все.

– Извиняюсь... – медленно пробормотал Сидоров.

– Все, – так тихо повторил лысый газетный бандит, что осенняя муха бросилась к мачо и тихо присела на ладонь. И Эдька молча глядел, как она сосет его лапу.

– Идите, – добавил Череп.

И прижатый камарильей журналист вышел вон. А Моргатый украдкой дунул на муху-дуру, мечтая остаться с ней в кабинете один на один. «А мы что, не перья? – с запоздалым возмущением выкрутил он мысль. – Мы еще такие вставим перья, лимфой захлебнешься».

А потом заставил подумать себя о приятном, как доложит тихо референту, что положено, и представил себя в мягком сафьяне перед крупным зарубежным банком. «Мачо, – справедливо рассудил, – он и в жопе мачо!»

\* \* \*

И все-таки, слава богу, она продолжала вертеться. Рассеянный теплый свет позднего утра раннего сентября подсветил иллюминацией вычерченные ветками лип природные математические фигуры – изогнувшиеся прутья-интегралы, опутанные собранными из листьев суммирующими тень сигмами, геометрические перекрестья мелких катетов и ошибочно вымахавших отростков-медиан, рифленую строгую аксиоматику упрямого ствола и торообразные горы корней, уползающие в основание квадратурной решетки. В тепле неожиданно вернувшегося лета крутились посвежевшие бомжи возле празднующей бабье лето помойки, кружились в совместном хороводе дети и голуби, создания одного подкласса, описывая эллипсы и штанишки, вращались на отдаленной площади жужжащие зеленые и цветные мухи автомашин и навозные жуки автобусов, и само голубое небо, распростертое над оккупирующим лавку Сидоровым выцветшим «синим платочком», гнало ветряной метлой перистых облаков невзрачные кучки застоявшихся серых кучевых новообразований.

Алексей Павлович проверил угол, на который еще вращала голову, скрипя и шурша, шея, вышло меньше «пи», то есть процесс самоотложения неумолимо пошел. Еще он с недоверием и настороженностью подергал пальцами зачем-то, для маскировки, нацепленный им на пиджак маслянистый на ощупь личный университетский «поплавок» и, раздосадованный, поморщился – надо было перед карнавалом журфака все же отмахать курса три на тяжелой дистанции мехмата или, на худой конец, чтобы не свихнуться, еще какого-нибудь спецфака. Была бы база, и не смотрели бы фрукты-математики и овощи-физики на популяризатора Сидорова, как на летающее вдоль их цветков, бесполезное, не способное опылять насекомое. Вот и эти бумажки, что перебирал он теперь, тупо уставясь в кривые зеркала страниц, не были бы таким глухим ребусом.

Перед скамьей, в глубине обширного двора в обрамлении лаврового венка увядающей зелени тяжелой китовой загарпуненной тушей утонула в водорослях высоких тополей трехэтажная сталинская цель его похода – надменное здание «Института физики Общей земли». Лет пять тому назад, помнил Сидоров, заведение называлось как-то чуть иначе, но ныне, следуя, скорее всего, свежесколоченным верованиям нынешних, идущих в мировом кильватере, гуманистов, назвалось цветисто. Ну и ладно, махнул ладонью не желающий отдавать празднично пахнущее утро на растерзание ироний газетчик, общей, так общей.

Вчерашний день притащил журналисту очередной «зигзаг удачи». Чувствуя обваливающуюся на сникшие плечи и поющую шею нелегкую перспективу в органе печати, он звякнул старому знакомцу, а иногда и кормильцу, в «Силу знаний».

– Слушай, – сообщил Сидоров по телефону каким-то не своим, подслеповатым голосом, – дела мои швах и глух. Скорее всего наша эта... не знаю, как теперь будет обзываться... «Зеркало правды» или «Желтый месяц» – полностью меняет кожу рожи, а с ней и писчий штат. И ваш покорный кандалник, как всегда по собственной упертой дури, на обочине этого органа речи. Но на пикник благородному семейству – один пшик. Слушай, ты бы меня за славное прошлое галерника хоть бы рядовым договорником приклеил, а? Я не откажусь.

– Леха, о чем тренд! – заверещал приятель, запавший в последнее время на вечернее интернет-баловство в валютный форекс и несколько притушивший свой журнальный накал. – Подменишь меня сменщиком на направлении главного подхвата. Без проблем, тем более у нас, в последнем окопе популяризаторов, тираж рухает в тартар, а с ним и маня-маня. Где обещанная ксива о флотских подводных недоразумениях?

– Пишется, – вяло отозвался спец проблемного пера. – «Как тебе послужится, так и недужится».

– ... А где год ползущий до нас обзор студенческого фантазийного энтузиазма?

– В работе... под столом, возлежит чистой раньше стопкой листков.

– Врешь, водочным стопариком поди возлежит. Верю тебе, как плакучей иве рыдающий чужой кровью бумажный крокодил.

– Постой, – прервал приятеля Сидоров. – Ты в последнее время что-нибудь про членкора Триклятова слыхал? Про новые откровения.

Приятель с полминуты молчал.

– Да, ну ты и болид, метеор-рушитель чужих строк. Уже сунул скоростной нос на чужие горячие рельсы. Ну уж если «и ты Брут», тогда бери. Твое. Бери горячий, как пальчики монашки, заказ. Я все равно по горло в иене-рупии. Плачу по полной. Или тебе деньги карман жмут?

– Да ты что! – возмутился газетчик ложному демаршу.

– Тогда нечего аккуратной бодалой мотать. Мотай на ус срочное, по потолку расцененное. Архи, как вещал классик недоделанной революции. Не знаю уж, что успел нанюхать своими переразвитыми полушариями, но скажу. Верно, и сам знаешь. Этот старый возмутитель академии Триклятов...

– ...гений со сдвигом наоборот, как его называли?

–.. он самый. Бывший...

– ...бывший?

– Не можем нигде его найти. В «Физикал ревью» сбросил новую бомбу.

– Библейскую?

– Ну, все знаешь. Не вырубай компютер, перешлю текст тебе на адрес. Все университеты стонут отдельными кафедрами. Разбирайся.

– В чем? Он ведь, хоть и ходил пять лет в гениях, лет пятнадцать как уже отовсюду выкинут, что-то вроде... Или засекречен.

– Ну да, – обрадовался сметке приятеля журнальщик. – Все помнишь. Человек-Марке какой-то. Тогда еще не такой старый шизик выкинул уравнение, где, как и все чокнутые на экстремальном дознавалы, ловко вывел на чистую воду не кого-нибудь, а творца, как частный случай его же самого.

– Да, помню. Был здоровый скандал. Тогда ведь святые отцы тихо пасли паству, думая больше о горнем.

– То-то и паства. Поперла козлищу. Тебе карты в руки. Теперь по новой статье дикий звон на весь католико-гугенотский мир. Обзывают с осторожностью сурьезные ученые «биологической бомбой кремля», «вторым Доном Брауном», третьим Бруно или Брутом и невесть еще как. И первым охмурялой. Хопс из Лондона с каталки, мигая глазом, накатал телегу, что-де у Триклятова возможна ошибка при рождении и что если Триклятов впадет в кому, тогда они поспорят на равных. И вообще, дескать, этот русский «Малоносков», так и выразился всемирный урод, сует нос не в свои, а в божественные пространства, куда англосаксы давно забили свой толстый приоритет в виде неблевок, извиняюсь, нобелевок. И скоро он, Хопс, а с ним крепкие ребята из Брук-хэйвена и массачусетские энтрописты приложат нашего сибирской бородой об его остробритвенные выводы.

– Так я что?

– Лешка, рой, – прошептал приятель в экстазе. – Плачу по полной, нас весь мир перепечатает, брошу к черту с курсами мараться, уйду от старой жены в негу. Ищи лунатика, тот никому не дается, рой интервью, лучше серию, сериал. Последние бредни я тебе скинул. Я бы сам, да, знаешь, форекс, подагра, плоскостопие и жена, говорит – не старая. Кому верить? Друзьям, и тем только за деньги.

– Пока, – медленно повторил Сидоров.

А теперь крупный серый кусок протухшего торта в виде здания «Физики Общей земли», где мог обретаться новый Кальвин Лютерович Триклятов, валялся, можно сказать,

у ног теряющего рабочую опору газетчика. Сидоров еще поглядел на жужжащих малышей, чирикающий беспечно трамвай, на звенящих пивом выпивох у палатки, на весь теплый, укутавший его уютom почти летний мирок и, вздохнув и поправив для храбрости университетский поплавок, вытянул листочки со статьей из внутреннего кармана. Вчера весь вечер просидел над каракулями «кулибина» и, ясно, ни бельмеса не понял. В редакционной вводной было сказано с европейской аккуратностью:

«Новая работа уважаемого доктора Триклятова поставила редакцию в затруднение. Первоначально, по ряду внешних причин отказав автору в публикации, продолжающей экстраординарные исследования известной ранее статьи ученого, позднее мы вынуждены были, попав под убийственный обвал аргументации автора, все же предложить научной общественности публикуемую ниже работу. И тем не менее, ждем в волнении от автора новых результатов, опровергающих прежние. Редакция».

Но поразил Алексея Павловича не сам текст, недоступный и небожителям науки, а с трудом разобранные им в конце некоторые выводы. На бумаге отчетливо был намаран меморандум:

«Итак, суммируем напрашивающееся, существенно ниспровергающее предложенную нами много лет назад в аналогичной статье интерпретацию... там мы вынужденно признали несомненное участие высшего, а проще – божественного разума при формировании правил поведения вещества. Уточненные же в данной работе подходы приводят нас, как и любого непредвзятого наблюдателя и проверяющего выкладки нейтрального исследователя, к выводам, возмущающим нас самих. Теперь автор, опустив в бессилии руки, готов признать дьявольский умысел в структурировании природных явлений. Скорее, здесь видится своеволие вещества – корпускул, молекул, человекoв или галактик, или иначе выделяемого фантома – в строительстве собственной независимой судьбы. Впрочем, открыт и для автора вопрос – а чему же иногда равна эта своевольная “тильда”? С неописуемым нетерпением ждем опровержения результатов работы специалистами».

Пытаясь припомнить самое непечатное слово, Сидоров сложил листочки, сунул их во внутренний карман пиджака и прошествовал, глядя на часы, по римско-сталинской лестнице от подножия научного «Парфенона» к тяжелым резным, еще сохранившим бронзовые массивные ручки дверям ученого храма, отмеченного сияющей в отраженных солнечных бликах бронзовой табличкой «Институт физики Общей земли». Здесь уже фланировал, поджидая обозревателя и одергивая в надлежащий вид курточку, только появившийся, как ниоткуда, высунувшийся из триклятовской неизвестности, сияющий улыбкой человек Хрусталий Марленович, бывший преобразователь болтов.

В предбаннике вестибюля, перед двойным турникетом, охраняющим тайны госфизики от лишних у соглядатаев глаз, журналист осмотрелся.

– Пропуск сразу на двоих не выпишут, – уныло констатировал он. – Тогда ждите здесь; я, если удастся, вас вызволю внутрь. Ждите. Ну-ка, попытка не пытка, – сманеврировал, убирая газетное удостоверение. Подвернулся к месту вот какой план.

В дверях он заметил группку изрыгавших перегар и одобренный физическими величинами перемат мужичков – «чтоб тебе... рычаг в дышло... успись с этой металлиной... спать им в Общей с... землице... возьмем у физиунов по полной...» – протаскивавших во входные двери, а потом и сбоку в приоткрытый, мимо турникетных баррикад, проход высоченный шкаф, изукрашенный с фасада многими цветными лампочками, проводками, рисуночками и поверху отмеченный аккуратной подписью «Научно действующий макет физической деятельности организации».

– Тащи ты тише, за физику не замай, а то грохнет! – заорал журналист, из всех сил оттягивая для шкафины убойные дубовые двери. – Майна, помалу, ну-ка стой! Сантиметр влево-вправо.

Так они и скантовали мимо застывших в оцепенении теток-охранниц деревянно-железное чудовище неизвестных народных умельцев в просторный прохладный холл. Попутно газетчик сзади через отошедшую панель заглянул внутрь монстра и увидел там полную пустоту, немного деревянной стружки и упаковочной шелухи и пару скрученных наспех батареек с вьющейся кислой змейкой проводков.

– Куда курью избу дожить? – спросил газетчика работяга, по голосу бригадир. – Твой, что ль, научный сортир?

– Здесь пока, – скомандовал журналист. – У стены. Лабораторию освободим, тогда в место. Дальше, дальше, объявление позакрыв.

– Так, хозяин, – сообщил бригадир, водя красным распаренным от монстра носом. – Тити-мити, спиртнику наливай. И наряд подписывай. А то люди совсем замерзли, застудятся.

– Ага, шас тебе магнитов полкила отгружу. Иди в канцелярию, – автоматически буркнул Сидоров, читая объявление. И махнул рукой. – Там, и печать два раза. В канцелярии всем наливают.

Газетчик оглянулся на слабо улыбающегося и поднимающего в приветствии лапки Ашипкина, оставленного по другую сторону баррикады. Огромными буквами на обширном плакате какой-то каллиграф вывел:

«К 55-летию заслуженного раб. Чл-корр. гражд. Триклятова объявлено заседание-конференция “АТЫ ВНЕС СВОЙ ВКЛАД?” с повесткой:

1. Освещение годового научного отчета института уполномоченным архимандритом отцом Гавриллом.

2. Присутствуют и направляют сочувствующие и другие ответлица депутат. Иванов-Петров, зам. пожарной охраны района, военком и др. иностр. ученые специалисты.

3. “Долой заруб. Гранты в одни руки чл. кора летуна”.

“За здоровый отпор высоколобых снобизма и популизма атеистов от дьяволов”.

“Отчет-покаяние учеников так назыв. научно-извращенного перспективного направления”.

“Общей земле – Общее финансирование”.

4. Разное (показательное выступление пожарных, школьники-победители, буфет).

5. Вручение пропуска, цветов и букета при-будущему, – если! – юбилянту.

6. Через трении – к звездам!

*ОРГКОМИТЕТЧИКИ».*

Ничего не поняв и даже не разобрав некоторых букв, Сидоров вновь уставился на объявление, в то время как оставшийся не у дел космоинженер-переводчик что-то пытался довести до газетчика речевым сигналом. В конце концов торжественно намалеванное на огромном финском картоне воззвание сложилось в полуосмысленный текст, и Алексей Павлович отправился за информацией в секретариат.

В освещенных то сверху, то откуда-то сбоку нагло таившимися пыли лампами коридорах встретились пару раз искателю вылезшие, как из преисподней, седоватые тролли с печатью обреченных к клонированию бастардов на лицах, вопрошавшие не вполне ясно:

– А чаек в подземелье сегодня всем разливают, не знаете?

– Не слышали, кассир ноне сердитая?

– Позвольте полюбопытствовать, ваши наверно точнее тикают, мои отстают. Который час?

– Почти утро еще, – отвечал газетчик обреченным.

А пробежавший мимо расхристанный толстячок, теряя листки, и оборачиваясь, и махнув безнадежно на них за ненадобностью, прямо в лицо работнику печатного органа крикнул:

– Скатецкий уехал в загородный виварий. Все с корабля на бал! Смывайся, кто может.

Но это было не вполне научно обоснованно. Замдиректора господин Скатецкий как раз если не мысленно, то всей своей дородной натурой очень даже присутствовал в обширном, обшитом уставшими украшать стены посеревшим идубовыми панелями импозантном кабинете и немедленно принял Сидорова, как только сунувшая в дверь голову не совсем пожилая секретарша сообщила шепотком: «Из известной газеты», правда, при интервью все-таки путался в рукавах модного плаща:

– Ну-с, господа газетчики, с чем собираетесь съесть нашу Общую землю? – пророкотал профессор поставленным баритоном. – Ждете очередных сенсаций от скромных заложников науки?

– По заданию редакции хотели бы написать об очередных победах разума, особенно ввиду скорой этой – через неделю? – конференции. Ну, «А ТЫ ВНЕС...» и так далее. Хотели бы подборочку... подвальчик насчет архистратигов физики. Взгляд директора, зама, несомненно, ну и кого, завлаб, ученики и критики даже, так сказать. Ну и пару слов именинника... этого... Приглядова.

– Нельзя, – обнажил зубодробильную улыбку заместитель. – Уважаемый наш и единственный... в своем роде... виде... академик и директор на постоянной основе совершает турне-вожж по линиям ООН в Африках и смежных холодных точках планеты. Знаете, – ухмыльнулся Скатецкий, – не все еще на матушке знают, что шарик-то наш товось, круглый, да еще вертится днем и ночью, как прокаженный.

– Это еще требует доказательств, – сдуру сунулся Сидоров, припоминая приплюснутость земли и вытекающие проблемы теоремехаников и ракетчиков.

– Если все вам доказывать, – поднял палец зам, – то умным не останется времени на ночные вахты и на... – он оглянулся на дверь, за которой секретарша затащила кусок шлагера, – на отдых от подвига. Должен Сизиф полежать иногда на камне?! А господина, как говорится, членкора Триклятова, нашего именинника, нынче в институте и в помине нет. Взял краткий ежегодно пролонгируемый отпуск без содержания. Я имею в виду содержание его научных трудов. Да, был талант, махонький, да сплыл в инсинуации. Давненько, как говорится ин витро, тогда ни к селу, ни к поселку, отрыл божественные следы. Теперь же запутался в трех терновниках. Так разберись! Тебе подскажут... коллеги, понимаешь. Лежит, понимаешь, на курортах под пирамидой, поди, и щелкает мыльницей формулки. Такой человек, глыбина, на глиняных протезах...

Замдиректора помолчал и продолжил, снизив голос:

– А империалисты – ведь какие вредители! – гранты выписывают только на него, Триклятова. Беда с ними. Подай отщепенца, и все. Мы объясняем: давайте гранты, мы передадим. Положенную ему часть. Вредят, жмутся, юлят – не любят они эту нашу Землю обетованную нисколечки.

А у нас планов творческих – компьютеры лопаются – создали прекрасный действующий макет Общей земли, как раз сегодня с производств завозим с космических испытательных стендов, теперь надо стену вокруг института новую ковать, чтобы модель не пропала, а вертолет Черноморского филиала чем заправишь, их обещалками? Так и напишите. Измеряем с вертолета изменения каждым летом в Крыму Земной кривизны под напором горных склонов и волн, затем... – и он опять поглядел на дверь, где его еще ждали траты в пику несознательным грантометчикам. И стал уже судорожно натягивать плащ.

Однако как часто случаются совпадения в простейших жизненных коллизиях. Тут же, за дверью, как из ничего, создался физический шум, потом с треском распахнулись двери, и в кабинет, криво переставляя ботинки, ввалился чернявый усач в окровавленном халате.

– Ты какой! – крикнул усач. – Ты Алика что элекричесв закрыл, у меня пять тонн рыба ва-няйт... всю твоя тухлый жизнь не расплатишь. Включай, гаварю!

– Почему за киловатты не платишь? – в свою очередь подскочил к белохалатнику заместитель, отгесняя того к открытой, заполненной похожей на импортную секретаршей, двери. – За ватты только заплатил.

– Алик не платит! – завопил чернявый. – Я тиби, дохлый судак, сколкой денга перетаскал, можно три баба держать за всо. – И ткнул на отпрянувшую помощницу. – Ты на мой денга который ходишь! Алик сигда платит, если каму платить.

– Так, товарищ журналист, – обернулся к Сидорову научный заводила. – Идите в лабораторию к заведующему доктору Ойничевичу, вся конкретика у него. Замечательный научный подвижник, тоже сидит на хлебе с водой без грантов, а мне еще к депутатам, к депутату Иванову-Петрову. На конгресс приглашать. Идите, идите, – ловко вытолкал руководитель журналиста, и из-за прикрытой двери послышались гортанные крики, фальцет и, возможно, возня.

В лаборатории «Сокровенных подвижек Земли» Сидоров нашел заведующего Ойничевича по вторичному признаку, когда увидел в комнате, заставленной фикусами, аптекарскими весами и другими приборами между нераспечатанных ящиков импортной аппаратуры неясного назначения некоего человечка, самозабвенно раскладывающего на компьютере «Могилу Наполеона», которую и заменил при виде влезającego чужака на картинку движущегося в песочных часах времени.

– Вы откуда? – степенно осведомился заведующий.

– Мы из газеты, – в старинном ключе представился журналист, водя перед носом ученого удостоверением, и, играя в тайну, сообщил шепотом. – Прислал доверительно к Вам перед конференцией лично господин Скатецкий.

– Понятно, – оглянулся на молчаливые приборы завлаб.

– Будем писать о шалостях науки, об этом... Трикетове. Грантостяжатели. Поможете информашкой, тезисно, так сказать.

– А как же! – с широким дружелюбием оскалился Ойничевич. – Про научный Талибан этот. Боюсь, не связан ли с Аль-Кайдой этой. Гранты под себя скушал и смылся. А работай кто? Один Ойничевич, от кандидата Дудушко никакого прока который год, одни опилки дубовые. Так и напишите на всю вселенную. Да еще этот фигов листик науки, ребенок-аспирант Годин, оставленный нам тут на погибель хапугой Триклятовым. Ничего, понимаете, не может разобрать в бумагах учителя проклятого. Еще месяц не разберет или шефа своего не отроет – высадим с аспирантуры с борта прямиком в армейский окоп. Пусть окапывается. А что! Теперь пишите про науку. Под руководством моей лаборатории созданы уникальные универсальные условия для обобщения Общей земли – будет произведено церковное освещение – электрическое уже подведено, – расположенного в лабораторном корпусе Камня преткновения – ну, образ трудностей и трудов, так... выращенный уже два года как без помощи Триклятова молодой аспирант, отличный выпускник мехмата... так. Проведены успешные совместные ученые встречи с мужами Японии, Кореи Южной, Малоазии – такая жаркая страна у океана... одного. Австралийских поисковиков пресной грунтовой негазированной приглашаем – что будем сотрудничать сразу же, и по деньгам. Но между нами, дамами, – подмигнул Ойничевич журналисту, – по фунтам и йенам уперлись крохоборы. Фанатики. Давай им в рабгруппу старика трехнутого. Ни копы под другую фамилию не выписывают.

А вот и кандидат Дудушко, – радостно воскликнул, поднимаясь навстречу входящему коллеге, огромному бизоноподобному мужику. – Звезд не хватает, но за счет хватки... захвата в борьбе роковой. Входите, коллега Дудушко. Вот из газеты, пишет про будущее нашей конференции. Поясните про науку точнее и про этого Вашего подшефного, мальчика-ученого Мишу.

Дудушко хамски осмотрел журналиста, компьютерный потерявший пасьянс экран:

– Пасьяшками все балуемся? – и поднимая руки, возвестил громовым голосом: – Что есть наука? Это жизнь, только наоборот. Труд, все пепетрут, понимаешь. Эти... мозголомы. А мы, от сознанки, воспитанные на молодежных лагерях-сборах ночных костров и клятв, в лекциях по глупостям не специалисты. Бога ему мало, в душу. А мы его эту тильду или матильду с бругильдой экспериментиками-то накормим и образумим, обрюхатим идейкой. Что есть молодое племя аспирантов-соискателей? Стадо говнов и козлиц, без святого пого-нялы-помела – не чухается, чухонское отродье. Но самое главное, чтоб карающая десница над наукообразными разверзлась – так скажем на конференциях истины перед кострищами правды, следуя друзьям нашего учреждения – отцу святому мандриту Гавриллу и господину святому депутату Иванову-Петрову, забыл, как дальше.

– Это кто такие? – судорожно пытаясь связать воедино слова Дудушко, сглотнул журналист.

– Первопроходцы соискатели кинутый Общей земельки нашей, – строго сообщил кандидат Дудушко.

– А вот здесь, дражайший коллега, брошусь поспорить, – злобно осклабился Ойничевич. – Никто из могижан знаний не бросил физически осязаемую Землю отцов и праотцев, и она вполне в руках достойных. Кроме некоторых сразу в кандидаты явившихся по списанию с молодежных игр на неизвестной местности. И фермеры формул, и арендаторы торков и кубов, и археологи логики – все схватывают земельные наделы науки на лету в целях обогащения угодий ее смыслом мысли. Тучные стады знаний запасаются прокормом из кормчих рук истинных пастырей на нивах планиды. И мы поддержим физически слабые силы сеятелей разума – найдем этого отщепенца, предъявим научные счета и кинем дадимые ему гранты в житницу Общей земли.

– А фига! – почти заорал кандидат. – Он еще кандилом с папилломами кучерявыми вам накидает. И что, спать с ними будете, египт ваша мать.

– Попрошу без национал-социального дрангнаха! – вскинулся завлаб.

– А в кутузку? В шарашкину контору отправим этого юбилярия с его ученой мартышкой-Мишкой, горше не придумаешь. Хлебнетесь баландой, как маленькие, опоросите результаты и заткнете продуктовую у простых брешь. А то, понимаешь, насобачились интегралами перед кандидатами народа фокусничать да потенциалы у людей таскать. Думают, дундуков нашли. Египт им в пасть!

– А вот тут, дражайший коллега, позволю пресечь вашу все же атавистическую, черносотенную научную идею, – нервно схватил завлаб чистые листочки со стола и стал их нервно перебирать, складывая по порядку. – Вы идите, журналист, готовьте на Триклятова свое опровержение и разоблачение, ступайте. А мы тут научно поспорим, а то господин Дудушко позволяет себе думать. Что ему никак не к научному его лицу.

Сидоров, как ошпаренный ледяной водой и выжатый прессом, выскочил за дверь, ловя осколки научного спора: «Сам сжег иномарку-измеритель колебаний детектора лжи из Евро-союза... найдутся на земле силушки, защитим депутатский статут от колеблющихся шатунов-иноходцев... научные журналы лучше бы в трамваях и институтских клозетах не забывал, когда спите... все завалили супостаты супротив научной веры...» Сидоров, и на секунду присев в коридоре спиной к стене, тут же, впрочем, скоренько поднялся и, глотнув показав-

шейся восхитительной пыли коридоров, все же позволил себе сунуть голову в двери соседней комнаты. Там было пусто.

– Есть кто? – осторожно справился исследователь.

В глубине заставленной пустыми пыльными столами комнатки тихо брякнула колбочка или фужер. Сидоров осторожно проследовал внутрь того, что официально звалось лабораторией. Именно так было выведено на табличке с внешней стороны фанерной дверки: «Лаборатория Триклятова». Внутри царило ощущение разгромленного футбольными фанатами помещения по выращиванию побед ин витро. Зашевелилась ожившая створка сушильного шкафа, откуда показалась чуть плешивая уже, похожая на башку обожравшейся несвежих гамбургеров мурены, голова Хрусталия Ашипкина и просипела:

– Мы, вечно живые, тут. Как не стыдно, господин Сидоров, вечно опаздывать к раздаче. Тогда уж подсобите вытянуть застрявшую половину.

Тут же послышалось копошение и в другом углу, и из-под крупного фанерного гроба с громкой табличкой «Пробы всемирной земли. Коктебель, 2008. Мерное, не кантовать» высунилось еще полголовы, худосочное ухо, и блеснули глазками лишенные стекол очки молоденького человека со вставшими дыбом пушистыми волосенками. Сидоров остолбенел.

Однако, чтобы пояснить произошедшее, стоило бы на минуту вернуться на полчаса назад, к топтавшемуся в растерянности и покинутому проходивцем турникетов журналистом переводчику Ашипкину. Смешно думать, что он так и остался бы, столбом, глазеть на далеко висящие объявления научного симпозиума. Хрусталий поощивался в вестибюльчике, а потом выскочил наружу, глотнуть кислорода, и попытался подпереть одну из держащих фасад колонн, раздумывая, не поднять ли руки кариатидой несколько раз для зарядки бодростью. Тут же вдруг подскочила к Ашипкину личность и спросила:

– Пропуск на вход имеешь?

– Нет, – покачал головой заброшенный.

– Литератор Н., – непонятно представился новенький, потертый человек, прижимая пачку макулатуры к впалой, открытой чахотке груди. – Так, пошли. Проходишь турникет – страшно ори и ругайся, поминай все Ойничевича, Дудушку и один раз Скатецкого и Святого духа. Угу?

Хрусталий очумело кивнул фамильярному встречному. Так они и пробрались, бранясь и пытаясь всучить друг другу куль с макулатурой, через онемевший турникет, при этом Н. еще вопил голосом одичавшего попугая:

– Господин Скатецкий тебе уши свинтит, свинтус – не вовремя материалы к совещанию и протоколы мудрецов доставишь, Дудушко душу твою продаст, чтобы помнил: секунда в секунду наука делается, вон охрана на что поставленная? Очки втирать? Бессовестный ты бессловесный, который раз регламент графика нарушил депутата Иванова-Петрова.

Прорвавшись за угол вестибюля, Н. затих, ласково улыбнулся и сказал, поправляя Хрусталик) ворот рубахи: «Здесь разложу столик, – и вытянул откуда-то сзади, из брюк, раскладной механизм с расставными ножками, – буду торговать своими изделиями, – и разбросал по столику кипку сброшюрованных листков из макулатурной пачки. – Прошлую неделю три экземпляра купили. Научно-фантастическая опера в трех отделениях, пяти картинах. На семи страницах убористо – арии монстров, дуэты космических гомиков, горгульи без голов тенором тянут. Либретто “Русалки тоже плачут”. Секретарша Скатецкого третий раз берет. Да не читать, просто шефа на деньги нарочно выставляет, силу тела показывает. Алик берет, особо дорогую рыбу заворачивать, еще пожарник экземпляр купил. Пробовал на зажигаемость. А акт составил на пять экземпляров. Хорошо расходится. Лучше, чем в родильном отделении. Бери недорого, пол-эскимо».

– Да нет, – пробормотал Хрусталий. – Мне к Триклятову по делу срочно.

– Налево, налево и перед клозетом прямо, – буркнул Н.

Минут через десять блужданий Ашипкин нашел битую табличку, и сунулся, и вступил в лабораторию. Там серой мышью жался к углу узенький на вид подросток. Тогда и юркнул тихо в сушилку блуждающий переводчик с немецких диалектов.

Потому что напротив очкастого юнца с явно недружественными намерениями обнаружился толстый мужчина, брюхатый и с погонами, а недалеко от входа на огромных пустых бутылках с надписью «ВОДА ПРОЗРАЧНАЯ» трое огромных солдат увлеченно шаркали нардами. Военный заорал, метя в очкастенького:

– Зазубри, рожа. Ты теперь призывных войск первого эшелона салага. От конституции худобой не отвертишься. Не будь я военком района, если ты у меня зеброй очковой не поскачешь. На самую передовую.

Маленький очкарик стал пятиться. Пятна фиолетовые и меловые покрыли его невзрачные щеки. Военком взревел трубой-побудкой:

– У подпол хотишь уйти-на, окопаться, сектант-на, в несознанку. Аспиринтик дешевый. Мишутка Годин. А ты годен, годен, все врачешки тебя сдали. Хочешь жить? Бежи через свое плоскостопие к своему пахану, этому Триклятому. Пускай берет свою писюку взад, пускай кается-на. Богохул-на. Пускай начальству ручку жмет. Так и скажи, как велят: хана мне, дядя профессор – кислые щи. В армии крынка-на. Ах ты рыба гусь, чешуя ненаученная.

И здоровяк уцепил подвывающего аспирантика за пушистые волосенки и стал возить по улетающей в стороны посуде на служебном столе.

– Ай, ой! – завопил несчастный.

– Ай, в попе май, ой, попу в строй, – взвился военизированный человек и прижал к очкам безумящего на глазах пачку подготовленных фоток. – А такого видал-на, в проруби всплытого. А такого хочешь, двумя «Газами» рванули. Туда хочешь? Беги без устали, как твои велят, к научному попке, члену в корке сохлomu. Вались дамкой под ножки, дубль один-один, домином падай и воняй: пиши срочно дедка репке, пиши папка дерматиновая, отро... окрове... опрове... вержание. Что, не нравится, курвья ножка...

– Какое опро... вержение, – еле слышно выпустил дух придушиваемый.

– Ты что, недопек-на? Сапог первогодка рваный, портянка кислая. В дембеля играем?! Мол, не знаю я ничего, член дурий корреспондента, косая харя господин ученый Приглядов, ничегошеньки про божественное окровение и научное ни ху... Не зыкаю, все ошибка жизни, и просто я, мол, складыватель чисел бухгалтер. Все обслонявил не по моей башке наоборот. Молюсь каждый день по семь раз и перед побудкой-на. И ухожу, мол, в скит, мерить милость. Во! Чтоб спасти шкуру паленую этого моего аспирантика. Тебя-на. Этого последнее пускай пропустит. Письменно в виде. Срочно, депешей. Встать-лечь, встать-лечь.

Опять посыпались приборы, лопнули измеряющие нанопесок часы, и сидящий в полугробике Хрусталий подумал, не пора ли пластунски покинуть обитель. Но не решился раскрыть саркофаг.

– Так, – крикнул осипший и подуставший военком. – Анвар, и ты... – позвал он нардовиков. – А ну покажите ему, как салаку сушат.

Двое оторвались от нарда и нехотя, походкой вольных борцов, двинулись к отползающему научному дилетанту. Один ловко сорвал с карниза грязную тряпку шторы и обмотал шею бледнеющего на глазах очкарика. Очки двумя каплями брызнули с его глаз. Здоровяки вскочили на тяжело ухнувший стол, подтянули тюфяк призывника и приладили тряпку на огрызок цепи бывшей люстры, освещающей теперь рыбный склад.

– Ап, – взяли они легкий вес. И аспирантик стал похрипывать и лезть слеповатыми глазами из орбит.

– Хорош-на, попугали-на, – гукнул военком. – Хорош! – повторил он нехорошо.

Но борцы только вошли во вкус, усмехнулись, а третий за нардами так и сплюнул желтой слюной с сторону военачальника, чудом попав в научную папку.

– Спускай, сдохнет! – заорал военком. – Сами тогда в карцер на год, костоломы. Стною! Аспирантик издал страстный писк и нехороший звук навсегда убегающих газов. Тогда борцы вдруг бросили брякнувшуюся об стол добычу, и все трое стали медленно кольцом, молча и страшно улыбаясь, окружать военкома.

– Вы чего? – испуганно замельтешил мужчина, шаря ладонями по отсутствующему поясу с боевым оружием. – Вы чего, хлопчики. Вы не шуткуйте. Застрелю. Ребчики, давай миром.

– Ми теба, дая, сичас яйц на изык наматаим, чтоб дэржи тиха, – сказал один солдатик, и расставил страшные борцовские клешни, и отключился.

Тогда вдруг большой военный споткнулся о вившийся к столу электрический или другой шнур и со страшным грохотом обрушился на стеклянную тару, низко и еле слышно вопя: «А-а, а-а-а...»

А другой боец улыбнулся, выдавил:

– Шютка. Идешь кафе, Гази. Вечер тренировк.

И вся троица развернулась и, прихватив нарды, мягкой походкой снежных барсов тихо удалилась вон, трахнув треснувшую фанерку входной двери.

Через минуту военком огляделся, выбрался из стекла, подхромал к рукомойнику и облил себя толстой струей, бомоча: «Ну... ну. Лады...», а потом все-таки подскочил к шевелящемуся аспирантику, брызнул ему в глаза и, бросив в сторону обрывок шторы, прошипел:

– Ты мне за все ответишь, салага, – и, озираясь и выглянув в коридор, скрылся.

Еще через минуту выбрался из своего укрытия и Хрусталий, помог аспирантику усесться, но тот садиться не мог, дрожал, бился руками и шептал задышающимся шепотом:

– Вер... нутся... О... пять вер... нутся...

Пришлось Ашипкину тихо до поры схоронить молодого ученого в подвернувшуюся щель и спрятаться до поры самому. Тут и обнаружил компанию бегающий по институту обозреватель Сидоров. Выслушав с черным лицом сбивчивый рассказ Ашипкина, газетчик помолчал и только сказал:

– Вы, Михаил, сейчас уходите отсюда. Сами сможете? – Годин слабо кивнул чуть надломленным цветком шеи. – Вот моя визитка, – протянул журналист картонку, вписывая туда ручкой. – И пишу адрес. Вечером, в любой день, завтра-послезавтра, приходите, обдумаем. Здесь телефон, позвоните. Думать некогда, надо что-то делать.

И все присутствующие тихо, тягостно опустив головы, разом разошлись.

\* \* \*

Многие подозревают, и не напрасно, что за чередой пасмурных, тягостных или нелепо неудачных дней завиднеется, а то и вправду прибегает неплохой, улыбчивый легкой удачей, теплый отдыхом от маяты или просто отмеченный беспричинно выпрыгивающим солнечным настроением денек. Глупо было бы думать, будто, скажем, после месяца поздних корчей и прощальных слез вдруг назначат серные бани, начнут тыкать в рожу огнем и внешне благовонной смолой, а то и сушить и калить и так треснувшие от старости пятки в особого устройства волновой печи.

Странно, что пока никем, кроме первопроходцев космодыр в верховьях бурятских хребтин и измерителей вертящимися прутиками духовных сливных ям соседних галактик, свободно наблюдаемых в заброшенных хлевах кинутых сел, – никем не отмечен один забавный феномен. Ясно, внеземного происхождения эти склизкие и потные, злые дни перемежаются в народе с обыденными и плоскими, как пеньки вырубленных вековых лесов, вразной, не замечая один другого и соседствуя, словно не враждующие, но ощущающие

врожденную постоянную неприязнь жильцы сыпящихся песком и штукатуркой коммуналок, единение которых в одном – ждут конца коммунального братства.

А вот восторженные и ласковые деньки, глядящие наши шкурки шелковой лапкой «года доброго дракона» и улаживающие слух словно пением иероглифических псалмов в «года огненного красного петуха», – те вбегают в унылые чертоги быта сразу ко многим и сообщают, как общий порыв зефирных ветров или прозрачный с прочкнувших небес задумчивый грибной дождик, и заставляют в унисон, хором воскликнуть: ну и денек!

Собственно, ровно такие, почти молитвенные, но очень сладкие словеса и выкинул поутру, высунув нос из простыни, малоизвестный даже самому себе литератор Н., очнувшийся вполне живым в своей крохотной квартирке в давно не стиранных простынях.

Н. сразу вспомнил, что вчера он наторговал в вестибюле научно-академического храма своих фантастических опер на кругленькие 69 рублей 51 копейку, посчитайте, поскольку за каждый из трех проданных экземпляров, украшенных поверху авторской неторопливо-стремительной монограммой. Этот академический парфенон присоветовал, как место типового торгового ларька чеканной прозой «нонфишкин», сосед Н. по лестничной клетке, сотрудник этого же научного гнездовья, специалист по моделированию физически абсолютной пустоты. Сотрудник иногда зазывал Н. в долгие гости с пустым чаем и был буддист наизнанку, поскольку хлопал в бока своего домашнего старого железного компьютера-россинанта и восклицал, выхватив с обвисшей деревянной полочки очередной диск:

– Гляди, в старое тело новую душу. Новую программку-модельку. Отгадай, что за пустота вылезет в этот раз?

Втыкал, щелкал пальцами пианиста с царапающимися и скрипящими ногтями по клавиатуре, и на железном экране высвечивалась и прыгала, резвясь, и цвела новая душа старого стального тела – перевязь графичков или плавающих полусфер, нарезанных в цвете формул и вычерченных в объеме откровений.

– Сдам этот вид пустоты в квартальный отчет, – восторженно вопил сосед. И добавлял, тихо поднося палец к узким губам. – У меня и новая пасмурная душа есть – версия три пустоты, укушенной тяготением, – а компьютерное железное тело лишь тихо постанывало вентиляторными выдохами и высывало сухой язык протяжек, требуя новую таблетку невесомой плоти.

Повезло, что в веселое утро этот «буддист навыворот» в звонок литератора постучал много позже, а то пришлось бы пару часов убить на возлияния взаимных пожеланий, осмотра невосполнимых пустот и чтения соседу речитативом в лицах очередной сцены порядком осточертевшей Н. фантазооперы. Потом Н., жуя вчерашнюю настоявшуюся и втянувшую пикантный вкус гренку, вспомнил, что зайдет другой сосед, пенсионер Г., и принесет, лаская между ладоней, столик – отстежку от пяти-ста за уступленное литератором пенсионеру на день право раздавать рекламные листки у метро У. Это право вместе с кипой бумажных бессмысленных листков Н. добывал по глубокому родственному благу, древом которого гордился, вычерчивал и дополнял или изымал из которого на старенькой миллиметровке. Кроме всего приятного, раздался часиков в десять неожиданный телефонный звонок. Звонил шапочно, если не сказать кепочно, знакомый неприятный человек Э. Моргатый, известный в городской среде человек-кидала, с занятным предложением: за сорок девять нефальшивых долларов быстренько накатать сценарий сериалки под громким именем «Мужчины не платят». «Все дело сконцетруй в углу комнаты любого киевского подвала, где съемки, – скомандовал уже однажды надувавший Н. обещаю. – Там и мордобой, там и кровать на три койкотела. Рядом джакузи олигарха с золотыми кранами и серебряной водой. А сбоку втащим бампер от джипа БМВухи, со встраиваемой раскладухой». Звончек этот, хоть и с осадком, но стал приятен, как немного мокрого под брюками в безумную жару, и

Н., вполне в настроении, отправился на кухню-ванну-санузел искать забившийся в какую-то щель от исхудания тюбик старой зубной пасты.

Надо подчеркнуть, что день этот задался не у одного этого Н. Выползла с утра и уже не уползала улыбка, как приклеенная синяя борода, с щек и самого газетного мачо Эд. Моргатого. Во-первых, он с утра долго, семь минут, хохотал. Щелкая с профессионально-задним интересом каналы, неожиданно на «нашем» и, конечно, «любимом» TOTAL TV нарвался, вместо обычного оккультного облома и запредельной кровищи, на сюжетец: китайская пожилая дура перед монастырем под визги пилообразного щипкового манекена с косыми бровями орала, мяукала и корчилась настоящей обезьяной, чем изображала ихнюю музыку. Чем только люди не зарабатывают. Ужимки шимпанзы, вопли обоссавшейся щипковой гориллы и притоптывания заблудившейся мартышки, а особенно гортанное хрипенье и сопенье довели мачо до экстаза колик.

Все другие ТВ давно забросили «вести с полей» и «фрезеровщик перевыполнил резать металл»: НЕР ТВ давно позабросил кусать крошащейся челюстью власти и перешел на «Вход-выход из последнего желтого коридора в нирванную кошмаров», «жизнь взаимы после жизни внаймы» и на «воспоминания сходящей по большому за свое зеркало стареющей и уже никому не нужной упаковщицы макарон и деятельницы самодеятельности». Так и мелкая пакостница НТН нашпиговала свальную утреннюю для прогулявших школьников групповуху раздвоением личностей членов и потусторонним воем вагин. Мочилка ВТН вовсю разбавила трупный запах снятых в углу общаг сериалок сладкой вонью потусторонней завирухи, в виде пропавшей в космос в объятия усатого гостя из будущего старухи вместе с вполне приличной двушкой в спальном районе или пассами рук потомственной заключенной, прорицательницы для определения прописки свежей расчлененки. И даже все эти монстры ТРТ, ПРК и прочие осторожно разбавили многодневные армянские визги юмористов-старух с гармониями вместо огнеметов бреднями про мистические пропажи у заглавных певунов «Песен о главном человеке» задников, передников с пятью бриллиантовыми «Ролексами» в рваном кармане и минутами памяти о брошенных гастрольных детях-упырях по всей обильной державе, произведенных больными от недержания страсти и выхлопов любви визжащими поклонницами из плоских поселочков и круглых пригородов.

Мачо дико и сладко, вместо подзарядки мышц, посмеялся над восточной обезьяной в простом сюжете родного кормильца-канала, но везуха продолжала переть через этот денек, и Эдька тихо повстречался днем с человеком и зрителем в газетке. Не надо рожать тайну там, где уже понесла удача. Все это послучалось в угловом кабинете главного этажа газеты, куда шавкам хода нет, тихо и буднично. Отставнику-кадровику органа Эдик доложил последнее свежайшее из жизни сотрудников толково и кратко, как и любят старорежимные зады, за что был пожат за руку. И рискнул в теплую минуту озадачить вхожего к бонзам, твердого оловянного солдафона с негнущимся осиновым колом шеи и взглядом лесного моховика. Который и на ночных полежалках в ресторашках «за углом», поди, никогда не был.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.